

*(Простая история об Анечке и Венечке, Мусе и Манечке. Или приключения  
отставного художника, набросанные им воздушною кистью в умозрении  
и переложенные автором на бумагу)*

## 1. ЖИТИЕ

Отставной художник главного управления ЖКХ (жилкомхоза), то есть живописец из прошлого, числившийся, как бы то ни было, в своё время первым пачкуном и подмалёвщиком города N, да что уже там, – града Орла, пупа земли российской, это в каких-то 360 км-х от Москвы, господа, считай, что сама Москва, так вот, с некоторых пор и уже даже в течение долгого времени Венечка Голубь, то есть наш маляр (по совместительству ещё и иллюстратор книг), по утрам просыпался в некотором недоумении. А именно...

Снилась Венечке его жена. Но не так, чтобы просто так... И не голая... Даже ни-

какая... Не та, размалёванная им на весенних и даже летних его этюдах, – свежая, пушистая, как одуванчик, и такая же лёгкая, ясная, как первоцветик, зрелая и яркая, как подсолнух, и даже не нынешняя, тихая и умиротворённая, кроткая, штопающая ему шерстяные носки или вышивающая для него цветочки на пальцах... Нет... Снилась Венечке, как бы это сказать, чтобы помягче, чтобы не ущемить Венечку, – жена – оборотень... И даже не так... Не совсем так... Просто с его супругой, дражайшей, с Евангелиной Иоанновной (она была немкой, полубуряткой и полуеврейкой, дык, вон сколько намешано, сложная натура Евангелина Иоанновна), происходили, то есть в снах Венечки, некие странности... И они даже

как-то весьма смущали и, случалось, беспокоили и тревожили Венечку.

Вот, полугодом ранее... Да, да, полугодом ранее... Ах, как время быстро летит... Так вот, полугодом ранее снилось Венечке, будто уже покинувши зал консерватории с блестящим, еще поющим на скрипках оркестром Владимира Спивакова, плачущим и рыдающим, там, на залитой рампами сцене, – дело в том, что Евангелине Иоанновне стало немножечко плохо, её чуточку чуть не вырвало, прямо на кресла, и даже на сцену, они сидели в первом ряду, и они были вынуждены выйти, чтобы не заляпать оркестр и сцену, и скрипки, – так вот, ноги у Евангелины Иоанновны, которую и так пошатывало, по выходу вдруг разъехались и подломились, то есть, когда они уже спускались в фойе по винтовой в мраморах лестнице...

Голова отскочила, сплющилась и, о мой Бог, закатилась – не куда-нибудь, прямо под лестницу, под ступеньку, первую, нижнюю, между плахой и полом. В узкий, чересчур узкий просвет. Проскочила голова, верно, за счёт ускорения при падении. Ну и за счёт сплющивания. Ну и, дык, капитально застряла. То есть так, что теперь её было не достать. Не вытиснуть обратно. Ни выбить, скажем, киянкой, – расколется череп, он у Евангелиночки хрупкий. Ни вытащить, загребая её кочергой, – кочерга погнётся, отчего-то думалось Венечке, потому что голова у Евангелины крепкая, несмотря на хрупкость. Тулово же оставалось лежать на лестнице... Венечка метался по лестнице, не зная, как их соединить, плоть Евангелины Иоанновны и голову, вместилище её разума ...

Проснулся тогда Вениамин Иванович с замершим, почти безударным, слабым сердцем, повисшим в груди на одной уже даже надорванной нитке, готовой совсем оборваться. Отвратительное ощущение. Стояли еще сумерки. Вениамин Иванович

ещё не совсем очухался. Как если бы дело всё ещё происходило в фойе. И вот, значит, он тихо крался к Евангелине Иоанновне, туда, к лестнице, заглянуть ей в глаза... И, ещё даже не заглядывая, обмирал от смертного ужаса... Должен ли он будет задёрнуть ей веки? Или оставить глаза ей так, как они есть, смотреть из под лестницы...

– Ты чего, Веня? – спросила Евангелина Иоанновна, с табуретки на кухне, подле открытых дверей, оттуда, откуда она обычно приветствовала по утрам Веню, вышивая на пяльцах или мелькая перед глазами Венички длинными, как у велосипеда, спицами и с клубками шерсти, примостившимися у неё на коленях. Иногда же на юбках у неё сидел кот.

Веня бухнулся в обморок. Очнувшись, подполз к мастерице. Положил ей на колени головку, потом на живот, припал к её грудочкам. Заглянул своему ангелу в глаза с тихим, всё с тем же мертвенным ужасом.

Евангелина Иоанновна моргнула...

Венечка вздрогнул.

– Ах, душечка, я уже думал, ты – мёртвая...

– Хоронишь меня, Веничка... А ведь любишь...

– Люблю, – отвечал Веня и, как всегда, рассказывал Иоанновне сон, который только что видел, как бы в оправдание, значит...

– Так что ты, достал мою голову? – спрашивала Евангелина Иоанновна.

– Там... всё ещё лежит, – вздрагивал Венечка...

И принимался кушать оладушки, которые уже испекла Иоанновна, попеременно макая в варенье их, кизиловое, смутное, розово-синее, и в сметану, ещё жиденькую, только заквашенную... Вениамин Иванович так их смешивал – сладь и кисломолочное изделие – на оладушках, как если бы краски на палитре... Вообще, любое своё движение Вениамин Иванович умел превращать в ху-

дожественное священнодействие... Вообще Вениамин Иванович ни на миг не прекращал художественных занятий, даже кушая, и даже справляя нужду, извините... Творческий процесс ни на минуту не прекращался в голове у Вень Ваныча. Он трудился денно и ночью. Лишившись места в ЖКХ и заодно дорогой мастерской, нечем было платить за аренду, в связи с перестройкой, Вениамин Иванович теперь работал дома, на кухне. Она была длинной, как вагончик у рабочих на стройках. Евангелина Иоанновна вышивала или вязала у дверей, то есть в одном углу, Вениамин Иванович малевал в другом, у окна, где было посветлее, словом, они трудились денно и ночью, устраиваясь напротив друг друга. Они зарабатывали на машину родному сыну, который столовался у них в виду отсутствия у одного занятий, при которых ему могли бы платить более менее прилично. А он мог бы с достоинством жить... Не было в городе таких занятий. Хоть расколись. Хоть убейсь. Все места до одного были заняты. Все засижены. И распределены между родственниками и богатыми. А на низкое место и зарплату Манечка принципиально не соглашался. Потому что это несправедливо, когда одним всё – бездарям и ворюгам, а другим ничего – честным и умным.

– Бедный Манечка!.. – (так звали сына их, что же тут поделаешь, так вот поименовали), вздохнула Ангелина Иоанновна. – Не дают ему, при его-то уме и талантах, не дают развернуться...

– И не приведи Господь! – отвечал Вениамин Иванович. – Развернётся – вбьют! Слышала? Зятка-то губернаторского – вбили. Потом – самого губернатора – вбьют. Как муху прихлопнут. Сын, глядишь, ежели потихоньку, будет, ить, жить... Токо надо прикармливать его – хотя бы маненько... Сёдня отнесу картину на рынок... Я тут изобразил лебедей...

Лебедей хорошо берут, и по сёдни. Падки люди на белых птиц, на красоту-то Божью... А вот на этой – Алёнушка, у пруда... Плачущая по Иванушке... Русский народ, он жалостливый, за милую душу возьмёт... Да и у тебя вон носочков сколько уже навязано... Небось и их заберут... Они у тебя мягонькие...

– И-их! Ищё каки мягонькие! Но отчего же маненько, Вениамин Иванович, жалко тебе што ли, я вчерась ему целую сумку справила... Едва потащил... Как бы не надорвался, бедненькой... Я вот чё всё думаю, не выскочит ли у него грыжа... Как ты думаешь?

– Так молодой ищо, тридцать пять лет... Кака грыжа... На нём можно, – Вениамин Иванович замялся, подбирая слово, и как-то не так, не по ранжиру закончил: – телеги возить...

– Телеги?.. – Евангелина Иоанновна задумалась. Чего-то она не могла взять в толк. Она так, без разговору, посидела. Мысль затерялась и ушла. Да снова вернулась. – «Ах да, ну конечно, – воду возить...» – Евангелина Иоанновна облегченно вздохнула и сказала: – Алёнушка-то у пруда... Картина эта... Не уноси ты её. Оставь дома...

– А чего?

– Чтобы я поплакать могла... Ну прямо копия...И как тебя так угораздило... В портретисты тебе надо было идти... Ты посмотри, ну один к одному...

И Евангелина Иоанновна и в самом деле тихо заплакала.

– Ну что ты, что ты, ангел мой, – засуетился Вениамин Иванович, роняя палитру на пол и подбегая к Евангелине Иоанновне. – Матушка! – он неловко погладил её по жидким крашенным с седыми прорединами волосам. – Голубушка!

И тоже тихо заплакал...

– Один к одному – декабристка... – сообщила Евангелина Иоанновна.

Вениамин Иванович просиял.

– Мусенька?!..

– Она! Как две капли воды... Один к одному, так схожа... Ну что ты... Да как же, что не поймёшь ты... Ну, это же доченька наша... Как она есть... Вся, в чистом виде...И как это так ты её ухватил... Вишь, плачет по Манечке...

– Окстись, Ангелина. Манечка-то – не утоп. Чё ты такое городишь, старая... – Вениамин Иванович осёкся... – Прости, прости меня, родная. Это я сдуру...

– Утопнет... – отрезала Евангелина Иоанновна... – Али ещё каким способом руки-то на себя наложит... Ранимый он, Манечка... Ты будь с ним поласковее, Веничка...

– Дык, я только что не дую на него...

– Смотришь зверем...

– Я же потупляюсь, Ангелиночка... То исть када Манечка к нам приходит. Так мне за нас стыдно... Што мы не можем помочь ему... Я даже никак, совсем никак не смотрю на нашего Манечку... Не то что бы там зверем...

– Ладно... Я вот всё думаю. Как нам возвратить Мусеньку... Маня то при нас... Што же она еще десять лет там, в Сибири-то, будет убиваться по террористу... Шататься по свиданьяцам. Возить ему передачки в колонию. Не доглядели мы за Мусенькой. Вишь, как она тихо... Собрала манатки и съехала... В гости к убийце! Далеко заехала...

– Сам он не убивал-с, – счёл нужным защитит террориста Вениамин Иванович. – Клуб вёл. Мусеньку обучал фокстротам и тангам. Слышал я, лучший в Орле был танцор. Офицер! Майор федеральных связей, гм... Вообще человек приличный...

– Убийцами руководил... – была непреклонна Евангелина Иоанновна. – Подготавливал взрывы. Ладно, милицию... Для чё он кафе взорвал? Люди же там пострадали... Ежели убивать – то власть... Так оно понят-

но. Манечка говорит, власть даже и нужно убить. Всю извести под корень. Сильно вороватая у нас власть... – Евангелина Иоанновна погрузилась как бы в некое размышление. – Веня!

– Что, голубушка?

– Как бы Манечка не пошёл в террористы! За ним, да чтобы в Сибирь, кто поедет? Мусенька – такая, она только одна... Жертвенница! Других таких нет и не будет. Она в России последняя декабристка. Никто за Манечкой не поедет...

– Анечка! – моляще проговорил Вениамин Иванович, в особо нежных случаях он называл жену Анечкой, в средних – Ангелиночкой. – Манечка ещё не убил. Никого-с даже...

– Убьёт... – сказала Евангелина Иоанновна.

И попросила:

– Налей мне, Веничка, стопочку... Там за шкафчиком, я спрятала... Махонький таковой штофчик, последняя сливовочка...

– Щас, щас, Анечка... – Вениамин Иванович полез за шкаф и: – Пузатенький-то штофчик... – сказал. – А?.. Здесь, небось, и мне хватит... Хотя-с – я работаю...

Вениамин Иванович набулькал Евангелине Иоановне. Та выпила.

– Сладенькая, – сказала. – Хорошо-то как... Благостно... Ты денежку Мусе послал?

– Как есть. Твои восемь тыщ. И моих семь. Как раз с пенсий... Там, в Иркутске у них, всё дорого. Знаешь же, квартира одна девять тыщ с лих...м...

– Пожалуйста, не матерись, Веничка...

– Прости, душечка, выскочило... Это у меня с детства... С детства же я матерюсь чёрным матом... Семизэтажным... Приучен... Никак не отвыкну. Смилуйся, Анечка... От зек же это... Ты же знаешь, отцов дом стоял рядом с колючкой. За колючкой и жили зеки. Наслушался... Всё никак из

головы не выветрится... Всё тень с глаз не сходит...

– Кака тень?

– Так от вышки же... Падала мне на окошко прям, на глазки мои чистые, ясные, ток просыпался я... С восточной стороны-то стояла вышка... А под нею колючка. Из-за этой колючки я солнца с утра, да и самого света не видел! Ну, када был маненьким, как Манечка...

– Манечка уже не маленький...

– Хорошо, хорошо... Все глазки мои исколоты этой колючкой. Ты не поверишь, таким, значит, свет был колючим, када падал на бельма, звини, на глазыньки мои чистые – они как роднички у меня были... Мне и щас больно. Смори! – у Венички разыгрывалось воображение, натура у Венечки, как у художника, была артистической. – Кровь до сих пор с глаз моих каплет. А иной раз прям брызжет. Эта ж колючка – она как шипы. Токо роз на мне нету и венца!

Правда, случалось, Евангелина Иоанновна заслушивалась. А то и засматривалась...

– Я и в школу ходил вдоль колючки, по проволоке... Смори! – Веня растопыривал пальцы, предъявляя Евангелине Иоанновне ладони. – Видишь, стигматы. И по сю пору не зарастают...

– Страх Божий!.. Допреж и впрямь не было... Святой ты человек, Веничка!..

Ладони у Вени и правда, кровоточили. Не то что бы взорвался, но как-то чудно так бабахнул на неделе уже запроленный бражкой, тут же на кухне, уже кипевший бачок с капавшей из змеевика перед взором Венечки в сияющий голубоватый сосуд чистой, как слеза, самогонкой. Рядом же на подставочке лежали патефонные иголки, просыпанные там Веней из коробочки. Они и впились в его ладошки. Всё б ничего, но Веня для чего-то раздирал царапины...

– Что поделаешь, – продолжал Веня,

возвращаясь однако к колючке. – Азия... Подбрюшье империи. В Азии-то я рос, Анечка... А там одни зеки да ссыльные. Я сам в душе – террорист... Так что скажу тебе, и среди них есть люди... Как этот возлюбленный Мусеньки... Жалко только, что весь из себя блажной он. Ну, может и не совсем диот... Но где-то близко, пожалуй, что около... Прежний, тот вообще был увечный... Послеинсультный... Выживала его Мусенька... Душа у меня разрывалась... Душа у неё ласковая, нежная, у нашей Мусеньки-то. Она ко всем им ластится, увечным и сирым, ко всем спятившим... Приголубевает их... Менталитет у неё такой, гештальт, по немецки, это когда рок над человеком... Судьба у Муси такая... От судьбы не уйдешь... Теперь отправилась в Сибирь вот, на закланье... Вернётся ль... В Сибири и щас, мысль такую имею, одни зеки, ссыльные и террористы...

– Да ладно... Да знаю, знаю, всё это тысячу раз слышала. Про колючку-то... Подумаешь... Про Мусю, так я сама тебе Мусею плешь проела, правда... Дай водочки! Дай, слышишь! Щас зеки-то так ходят, не прячась, не за решеткой они. По тюрьмам сидят – свободные, свободные и голодные... – Евангелина Иоанновна немножечко возбуждалась. – За кило картошки упрятывают... Которые тянут миллиардами, те – они в почёте и при наградах... Как эта фифа, ну та, толстая баба, забрильянтинная, расфуфыренная, с её маршáлом, бывшим верховным, Василиса... Как губернатор этот сахалинский с авторучкой за сто тыщ евро, грят, запикивал ручку себе в задницу... Щекотал там пёрышком... Быдто удовольствие особое такое имел от брильянтов в заднице... Манечка прав... Убивать их надо... Чё молчишь-то, спрашиваю же, у тебя есть водочка?

– Выпил-с...

– Врёшь! Вениамин Иванович.

– Ну хорошо, хорошо-с... Тут у меня на доньшке... Самая малость...

– Малость... Да ты вроде, как вчерась выгнал... Неужто уже продал?

– Говорю ж, маненечко токо осталось...

– А выручка?... Ладно, наливай... Пол стакана.

– Схлопнешься, Анечка...

– Туда и дорога мне!

– Нет, стопочку, Аня.

– Лей стакан, Веня!

– Половину, Анечка!

– Что, спятил, Венечка! Как разговариваешь! С супругой своей законной, с женщиной, с матерью, – да матом!

– Прости, Анечка! Бес попутал, Анна Иоанновна! Царица моя! Душичка!..

– Другое дело...

Венечка подавал ей – (всё-таки) стопочку. Как всегда. Как и в этот раз. Евангелина Иоанновна (при нетерпении, бывшем в ней) не замечала разницы, и на этот раз не заметила...

Она махом выпила, не закусывая... Тут же расслабилась...

– Ублажил ты Анечку...

Евангелина Иоанновна посмотрела на Венечку, моргнула белесыми глазками, вздохнула, немножечко покренилась назад, притулясь к стеночке, да и заснула. Спицы с начатым с полгода назад для Манечки свитером выскользнули из её рук. Ноги немножечко разъехались. Шерстяной клубок, дёрнувшись, соскочил с подола на пол, покатился по полу, – оседлав моток, кот погнал его далее, в коридор, по коридору, к выходу... Спица, было поволокнувшись следом вместе с горловиной свитера, выпала из петель и осталась лежать на пороге.

Венечка было нагнулся за спицей...

Однако поднять не успел.

Вениамина Ивановича отвлекло журчание некое...

Веня в недоумении поглядел по сторонам, слева направо и даже зачем-то посмотрел вниз, пытаясь определить источник звука...

Под Евангелиной Иоанновной растекалась небольшая лужица.

– Описалась... Ай-я-яй! Душичка!.. С вечера, значит, напринималась, – раздумчиво пробормотал Венечка, – наклюкалась, Анечка...

## 2. ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ

Ну да. А то вот ещё, снилось вот Венечке... Еще через месяц...

Пребывал он во сне... Но – как бы – проснулся Венечка... Проснулся, глядь, а Евангелина Иоанновна зачем то падает прямо перед ним с кровати, как-то так показательно падает и, значит, ползёт для чего-то к стеночке, между комодом и тумбочкой (что под телевизором), тыкнулась вправо, в уголок между боком комода и стеночкой, но как бы во что-то упёрлась, невидимое, и отползла...

Венечка смотрит... Чем это таким Анечка занимается... Интересно же Венечке. Может, денежку спрятала. Или ещё что-то. И теперь ищет... Затаился Венечка. Как бы не испугать Анечку. Потому что она сама вроде как во сне. Слышал Венечка, нельзя окликать спящих или там подверженных лунатизму. Беда с ними может быть. Даже если и не по крыше ходят. Хотя Анечка и не была подвержена лунатизму. Да мало ли что... Может, тут какая другая напасть... Конечно, нет, не горячка белая, Анечка так, она только по стопочке пьёт. Да и то – махонькой. Так чтобы стопочку за стопочкой – куда ей... Когда это было...

Отползла Анечка, и по сторонам – глядь... То ли ищет чего-то, то ли боится



кого-то, – как если бы кто-то за нею следит, и она опасается... А это Веня за нею следит. Странно как-то Евангелина Иоанновна озирается. Тулово неподвижно. Застыла туловом Евангелина Иоанновна, на четвереньках-то. А голова у неё, будто бы пёсья, вытянулась, и назад выворачивается, мордой, будто достать хочет резцами (хорошо ещё, что не щёлкает) Веню. Да мимо всё проезжает, каким-то таким невидящим взглядом смотрит. Как будто слепая. Ну точно, спит Анечка. Только бы шейку не вывернула. Как бы не свихнулась головка у Анечки, испугался Венечка, слетит ведь с шарниров. Да и потом, и вообще, слабая шейка у Анечки. Головка на ней и так едва держится.

Хотел было Венечка окликнуть, вроде как пробудить ото сна Анечку, но не сумел. Члены не двигались. И язык пребывал в неподвижности.

А Евангелина Иоанновна опять к чему то присматривается, только уже в ином направлении. Немножко сменила поле обозрения. Слега развернулась, юзом, и чуточку ещё проползла...

Ткнулась в другой уголок, который слева. Ковёр там, положенный от дверей, кончался. И угол его как-то странно задрался. Немножко, а всё же задрался. Евангелиночка ещё его отвернула. Отвернула и, переклонившись за его полу, заглянула внутрь.

Долго так присматривалась...

У Венечки аж члены, то есть теперь совсем, занемели и даже занули.

Не дышит Венечка.

– А... Вижу, – говорит Евангелина Иоанновна, – ну, наконец-то, наконец, – говорит, – наша странница отыскалась... Вот, значит, ты где... – и: – Что же ты, – говорит, – что же ты, Мусичка, так некрасиво спряталась, будто бомжа какая... Сокрылась от мамочки... Душно же здесь. Дышать нечем. Задóхнешься тут. Доча моя, кровинушка,

ты же немышь, чтобы в подполе прятаться, – спряталась бы в шкафу, в бельишке, там чисто и мягонько, да посвободней, – шумточки-то ты свои повыбрала, повывезла, одни распашоночки да колготки остались, детские... Свободно в шкафу... А ты под ковёр... Как бы не загнула здесь... Вылазь, моя кровушка, не пугай мамочку.

Весь в слух обратился Венечка.

То есть... Что же, – выкажет себя Мусичка?.. Высунется – али нет? Проигнорирует или ответит своей мамочке?..

Жуть как интересно сделалось вдруг Венечке.

А Мусичка так ведёт себя, будто бы там её и нет, под ковром, значит.

Не откликается Муся. Молчит.

Безмолвствует Муся.

А... Прикидывается мёртвою Мусичка.

Понятно. Ежели захоронилась, чего же тут же и открываться... Для чего являться на божий свет?!

– Не хочешь, значит... – услышал между тем Венечка. – Боишься мамочку! Не бойсь! Стыд не дым, глаза не выест. Вылазь! – приказала Евангелина Иоанновна!

Проснулся тут Венечка. Что за чертовщина такая, ужаснулся Венечка. Ну надо же, какая гадость! Заберётся такое в голову... Чего человеку и не поблазнится... Нарочно чтобы так не придумашь, думает Венечка. А в ум не возьмёт, что сам ещё спит. Однако... Надо пойти посмотреть, что там такое с мамочкой. Упала ж. Как есть. А там в ней, одни косточки... То-оненькие... Как бы не разбилась, курочка. А что как и впрямь там, Мусичка, за ковром, – обожгла его мысль.

Открыл глаза Венечка, глядь – а Иоанновны – нигде – нет.

Господа! Кто как и где как. Не то с Венечкой. Всегда, везде, во всю свою жизнь чрезвычайно сообразительным был Венеч-

ка. Да, Венечка быстрее всех соображал. Так и в этот раз. Перегнулся Венечка через кровать и под кровать глазками – шашть...

Там – Евангелина Иоанновна.

– Чего это ты тут делаешь? – по возможности вежливо спросил Вениамин Иванович, то есть как если бы ни о чем таком странном и постыдном, то есть с Аней и с Мусечкой за ковром, не видел, не слышал, ни о чём таком не ведал, ни сном, ни духом... Ничего такого постыдного даже не было... Ничего совсем, совсем ничего не было...

– Муся приехала... – отвечала Евангелина Иоанновна просто. – Приехала – спряталась. Сперва под ковёр, оттуда – сюда, по плитусу перебежала... Вишь, стыдно ей. Оттого, что пустая приехала, даже без тряпочек, без копеечки... Вон, в тот угол вон залегла, затканый паутинкою. В щель норовит забиться. Уйти, значит, в подполье. Там, ты помнишь, под полом труба с расщелиной, от старой канализации, ремонтники нам показывали, когда полы вскрывали, оттуда, по ней, по трубе этой можно утечь в канализацию... Если соединение есть, с новой то есть канализацией. А нет, если старую снизу обрезали, – так в подвал спрыгнуть... С подвала – на улицу. Путём, которым коты ходят. А то – в дымоход. И на крышу. Там, снизу, как разобрали стенку, когда капитальный ремонт делали, так и по сю пору не заложили дыры. Дымоходы и щас открыты. С крыши, с ейной – даже коты вниз не прыгают. Муся прыгнет. Потому что и она, Вениамин Иванович, мысль в себе такую имеет, как Маня, подспудную... Я, как мать, чую... Тут, Вениамин Иванович, в углу-то, готовится самоубийство....

Веня смутился. Даже у Вени такой фантазии не было. В любом случае, вызволять надо девку.

– Конечно. надо бы её вытащить... – отвечал Вениамин Иванович. – Нехорошо

человеку по щелям чтобы прятаться... Как это у неё получилось?

– Да она же махонькая, – отвечала Евангелина Иоанновна. – С букашку... Принеси иголку. Цыганскую. Ткну – Мусечка выскочит... А еще лучше спицу! Из тех, которыми вяжу я. Ту, которая в клубок воткнута. На одном конце с крючком, загнутым, на другом из себя вся такая востренькая, будто шильце. Им в клубок и воткнута.

– А как проткнёшь? Поразишь в сердце! В самое... – Венечка содрогнулся. – Ты же слепенькая...

– Туда ей и дорога! – сказала вдруг изменившимся голосом Евангелина Иоанновна, оборачиваясь к Венечке и вцепляясь в нос его крыскою. Ну как есть оборотень, подумал Вениамин Иванович, но отчего-то со спокойствием, и даже с холодным, придерживая рукою нос и на носу, разом, крыску. Вениамин Иванович как-то совершенно естественно отчего-то воспринял это Анино сумасбродство, то есть с превращением. Человеческим таким метаморфозом. Ну захотелось Анечке... Что же, если умеет. Как если бы она и всегда была крыскою.

Нос отпустило.

Веня подал Евангелине Иоанновне, – откуда только взялось в его руке? – шильце.

Постоял (ага, значит, встал с кровати), постоял в раздумье.

Посмотрел – но как-то так – мимоходом – на портрет с Мусенькой, выставленный на комод, в голубенькой, как сияние лунное, рамочке...

– Так чего там с нашей Мусенькой?

– Приглядываюсь.

Слышно было, как Евангелина Иоанновна завозилась там, зашуршала нижнею юбочкой, как тихонечко вскрикнула.

– Ну? – испросил Вениамин Иванович.

– Увёртывается...

– Ты с ней построже! – сказал Вениамин Иванович. – Она у нас пряткая.



– Фу-х! Не отдышусь! – Евангелина Иоанновна выбралась из под прикроватной сетки. Просто, даже безо всякого там перепада и выраженья сказала:

– Заколола уж... – сказала. – Захолонула она... Загляни, ежели хочешь, под кровать. – И распорядилась: – Ниже, ниже... Вишь, вон там, как тряпочка, там лежит... Не дышит. Токо с сердца капает...

– Вот и ладно, – отвечал Вениамин Иванович, поднимаясь от пола. Посмотрел на Евангелину Иоанновну и сказал ей: – Курочка ты моя! Ряба! Щепочка! – и стал Евангелину Иоанновну для чего-то ощупывать...

Тут опять проснулся Вениамин Иванович. Но, опять же, не совсем чтобы так... Сон продолжал длиться. Продолжая оставаться во сне, во сне же Вениамин Иванович и просыпался, то есть никак, ни коим образом не покидая пределов сна.

Понятно, что на этот раз Вениамин Иванович в холодном поту проснулся. Мусечки – нет. Заколота Мусечка. Вениамин Иванович пошёл в кабинет, на кухню то есть, достать верёвку, чтобы удавиться... Однако же по пути заглянул в спальню к Евангелине Иоанновне. Ну да, с некоторых пор они спали раздельно. Вениамин Иванович – в зале. Евангелина – в спальне, длинной, похожей на гроб. Неясно, почему в эту ночь они спали как бы нераздельно и – вроде – поврозь... Странно... Хотя... Ладно... Пусть так. В любом случае Вениамину Ивановичу на сей счёт еще только предстояли мучительные размышления.

Словом, проходя мимо спальни, Венечка, как бы нехотя, через силу обернул свою голову в сторону Евангелины Иоанновны, как если бы его потянуло магнитом. Смотрит, Евангелина Иоанновна держит в руках портрет, тот самый, который Вениамин Иванович, если и обзирал вышеописанной

ночью, то – походя... Венечке стало как-то неудобно, что он проманкировал часом ранее Мусечкой, взглянул на неё мимолично... Нехорошо как-то... Что подумает Мусичка...

Решительно развернувшись, Вениамин Иванович шагнул в спальню.

– Разреши взглядеться! В портрет! – обратился он к Евангелине Иоанновне.

Евангелина Иоанновна – раз, и – спрятала, значит, портрет. Куда – непонятно. И зачем – неизвестно. Зачем прятать портрет?

Вениамин Иванович растерялся. Правда...

Конечно, не сразу заплакал. Был вроде бы, ан – исчез, пропал, сгинул, аннигилировался Мусечкин-то портрет. Вениамину Ивановичу сделалось грустно. Да что там. Вениамин Иванович, если честно, – едва крепился, чтобы совсем не заплакать, не пуститься в нескончаемый плач и вопль по утраченному портрету. Вениамин Иванович едва удерживался от обильных и горестных слёз. Веню душили рыдания.

– Прошу, – сказал умоляюще Вениамин Иванович. – Прошу, Евангелина Иоанновна, предъявить мне дочернин портрет. Я люблю Мусечку!. Я обожаю даже её портрет. Молчу уж о судьбе самой Мусечки...

– Накося выкуси! – с царственным и даже величественным жестом произнесла Евангелина Иоанновна, ну чисто царица... Что же, может, в каком-то поколении и была правительницей и снова могла ею стать... Вона, какие у ней повадки!..

Время, господа, это – вещь обратимая. Время, господа, это такая штука, которая, случается, течёт наоборот. Или вспять, если хотите. Куда-то заходит вбок. Ходит зигзагом! А то бежит всё по одному и тому же кругу, повторяясь, как если б заедает... Это ток на часах всё хорошо бывает.

Что до Вениамина Ивановича, то Вениамин Иванович не однажды на собственной шкуре испытывал временные причуды... Случалось, Вениамин Иванович как бы даже выворачивался, бывало, выходил из себя, приспособляясь... Человек – такая материя... Тож – весьма относительная. Время – тем более. Вениамин Иванович старался смотреть на оное снисходительно. И немножечко – сбоку. С одного. Или – наоборот. С боку другого. В трактате, который Вениамин Иванович прятал от Евангелины Иоанновны, он исследовал до семидесяти разных позиций, при которых лучше смотреть на время. Господа, читайте записки Вениамина Ивановича и образуйтеесь. Образуетесь, поймёте, как трудно жилось Вениамину Ивановичу.

Однако ж... Что-то и впрямь не то было со временем... Возясь с Евангелиной Иоанновной, Вениамин Иванович мучался одною тайной подспудною мыслью. Как это, что он начал ощупывать Евангелину Иоанновну ещё до того, как понял, что она умыкнула портрет... Ну, в том, в первоначальном своём роковом сне, в финале его с заколотой Мусичкой... Он сразу, ить, начал ощупывать Евангелину Иоанновну. Быдто она с портретом под кроватями ползала. Но Вениамин Иванович, он же видел, что на столе был портрет...

Гм... Да... Ах, да... Там во сне произошёл сбой. Время прыгнуло, проскочило вперёд; соответственно, образовался провал, в памяти. Далее, значица, стрелки вернулись назад, встали на место, и что ж? – ну конечно, пошли обычным своим чередом и ходом. Вот как!.. Понятно... Евангелина Иоанновна за энтот промежуток успела украсть портрет. Вениамин Иванович же даже успел поспать, там, в зале. Но, опять же, как эт? Взять и запахать портрет за халат! С такой, от, бесцеремонностью!?. Нель-

зя ж так! Будто портрета и нет. И, значица, как бы и самой Мусечки!.. Значица: с глаз долой, из сердца вон! Вона оно как! А, ить, запахала, заныхала, да под халат, дорогую реликвию! Больше ей некуда!.. И, конечно, ясно теперь, почему Вениамин Иванович как бы и не впадал, не в то, в которое нужно было, время стал ощупывать Евангелину Иоанновну. Однако ж – какая упорная!..

Да. Евангелина Иоанновна не давалась. Вениамин Иванович настаивал, то есть на ощупывании. Они немножечко потягались между собой. Право слово, подрались. Но это только для вида, то есть, следует уточнить, со стороны Евангелины Иоанновны. Евангелина Иоанновна для вида сопротивлялась. А потом раз и – сдалась. Уступила Вениамину Ивановичу. Вениамин Иванович уже как-то даже нагло обшаривал Анечку, приходя при этом во всё большее недоумение, впадая в ужас. Евангелина Иоанновна при этом дико смеялась. Под халатом её не было. Совсем никого. То есть за материями. Совсем ничего. Пусто. Вот отчего смеялась Евангелина Иоанновна. Насмежалась над Вениамином Ивановичем. А зря. Венечка обладал, может, сильнейшей из всех, которые есть, дедукцией. Венечка на дух не переносил иррационализма. Венечка был сугубый реалист. Человек рацио. Живописец без промедления смекнул. Евангелина Иоанновна на отлете, может даже, на палке держала халатец. Подсовывала, значит, ему. Сама ж где-то пряталась. Выскользнула из халата. Напружилась, – она ж лёгонькая, и – прыг-скок, к потолку причепилась. Подвесилась, значит. Там прилепилась. Зависла и – с верхотуры смотрит. Веня подъял голову. Не было на потолке Евангелины Иоанновны. Ага, в фантом превратилась. Она ж оборотень. Веня захихикал. Фантом-с – он не материален. Нет его и есть он. Есть, а не чувствуется. И даже нельзя его пощупать.

Фантом – неухватен. Значит... Под халатом, под халатом Евангелина Иоанновна. Вместе с портретцем. Однако ж Веня сомневался, что там у ней за консистенция, в сам деле?.. Может, в сам деле, до чрезвычайности нежная, поскольку фантомная...

Как бы не повредить Евангелину Иоанновну.

Веня протянул руку к халату...

Может, перестать дышать?..

Нет, правда, а ежели, правда, фантом? Настоящий... Всё ж таки... Вплывёт в рот... Занесётся, от, вместе с воздухом. Веня сомкнул рот. А как через ноздри?.. Веня зажал пальцами ноздри. Ладонью другой руки замкнул рот. В носу засвербело. Там уже Евангелина Иоанновна! Веня чихнул. Евангелина Иоанновна вылетела... И, значит, исчезла.

Что до портретца.

Как сама Мусечка, так и портретец Муси, рассуждал Вениамин Иванович, пребывает в ином измерении, – поэтому тож сделался необыкновенно маленьким. С того Веня никак и не найдёт его. Портретец – скукожился. И может, ещё скукоживается, наподобие кожи, шагреновой.

Пошагово Веня ощупывал халатец. Складочку за складочкой. Отворачивал манжеты на рукавах, заглядывал под хлястики, исследовал кокетку, отдельно, пояс, тож на особку, перебирал посёкшиеся ниточки и забирался взглядом в самые поры халата.

Веня вздрогнул. Портретец сам пал на пол.

Неясно откуда. С глухим, непропорциональным для его скукожившихся размеров, с каким-то гробовым стуком.

Вениамин Иванович нагнулся за ним, достав в одно время из кармана штанов блестящий пинцет, и взял изделие им, охватив портретец пинцетными клешнями в рёбрах. Взявши, поднёс к потрясённым

глазам. Вениамин Иванович был левшой. И держал портретец правой рукой.левой наставил на него также заблаговременно вынутую из штанов лупу. Глянул. На портрете была – не Муся... Нет... Случилось ещё одно превращение. Ну конечно, оно и понятно, Муся не могла, как она была и как есть, если, конечно, она ещё есть, перебегать по плитусу, глядеть из щели, висеть, как будто она паук, – Вениамин Иванович содрогнулся, – на паутине, там, в углу, под жениной кроватью... Для этого потребно иное устройство... Разумеется, тела... Сообразуется, гм, сие устройство или не сообразуется с материалистическими воззрениями самого Вениамина Ивановича, хочет он того или нет, нравится ему или нет сие превращение, это не важно. Устроению сему должно, в соответствии с логикой, быть... Даже если это и порождает в Вениамине Ивановиче ужас или, хуже того, отвращение. Благо, тут соблюден и учтен, эстетический, как бы это сказать, – принцип... Или момент... А он был соблюден. Некий эквивалент благообразия. Некого соответствия с Мусечкой... Вениамин Иванович, – чуть погодя, – совсем убедился. Но и сразу даже почувствовал. То есть Вениамин Иванович был не в претензии. И однако ж... Только он глянул вновь на портрет, как непроизвольно, всем существом, всем составом своим – обмер. Заместо Муси, на месте её – да он же только что видел её в лунном сиянии, может, и получаса ещё не прошло, – на месте девы, место её заняла – бука, бу-бу, букашечка... Она как бы даже бросилась Вениамину Ивановичу в глаза, то есть с портрета. Вениамин Иванович прынул. Бросилась – это, конечно, иносказательно. Она просто сидела там в рамочке, заместо портрета. Причем, отвернувшись от Вениамина Ивановича. Причем, как-то так, как будто сбегая, будто бы обращаясь в бегство от одного взгляда Вениамина Ивановича. При этом, спаси и помилуй

господи, Вениамин Иванович непроизвольно, опять же, – перед портретом-то, в виду букашечки-то – покрестился, ибо узнал в ней – Мусю! Непостижимо. Во всей её неземной, но небесной, в тихой её прелести и красоте. Вот почему Вениамин Иванович был как бы даже и не в претензии. В чем-то сохранилась Мусечка.

Была же она с головку булавочную, с ушко игольное, зёрнышко просяное, с макровку... На глазах таяла и уменьшалась Мусечка. Вот-вот исчезнет... Вениамин Иванович забеспокоился. Попристальной вперил око в сияющую выпуклость линзы. И снова обмер... На спинке у букашечки, рассмотрел то есть – какие-то пятнышки, точки, красные... И даже разводы... Рваные... Значит, Евангелина Иоанновна её точно – в спину, похолодел Венечка. Божью коровку-то ... Да не на один раз... Пять нанесла ударов шильцем. Пять разящих уколов. Божья коровка и кончилась. Вон оно что... Вениамин Иванович низвергся в обморок. То есть опять. С тем и на этот раз, но уже въяве, проснулся.

Проснулся Вениамин Иванович и, обо не мешкая, однако же и не без осторожности, не без некоторого страха стал подвигаться к месту, где восседала, должны была, по всему, сидеть Евангелина Иоанновна, там, на табуреточке, в пространствах кухоньки... Там сидело – чудовище. Да что говорить, страшно было Венечке. А она вся из себя такая ласковая... Ластится к Венечке.

– Что ты? – спрашивает Венечка.

– Водочки, Венечка... Плесни мне полрюмочки... Что-то сердце у меня не на месте... Как там, всё думаю, наша Мусичка...

Вздрогнул Вениамин Иванович. Но скрепился. Не подал виду.

И засуетился вдруг. Отладить компьютер. Связаться по интернету с Мусечкой.

А полетел было компьютер у Вениамина Ивановича. Не мог он связаться с Мусечкой. Увидеть её (по скайпу, – вообще Вениамин Иванович недурно даже владел компьютером) и убедиться, воочию, как бы это сказать, в наличии человеческих форм у любимой им дочери. Прочее как-то выкинулось из головы Вениамина Ивановича. Прочее как-то забыл уже Вениамин Иванович. Ну, про уколы и шильце... Сон он и есть сон. Не обязательно, чтобы, весь и сразу, проявлялся, в этом, как его, – умозрении, то есть в сознании. Так, чтобы полностью. И потом, всё же это иная реальность. Потом... Таков вообще человек, в человеке ж один – звериный инстинкт, самосохранения, вот он то и правит в нас бал, да, да, отшибая нам память. Для чего нам разные там непотребства, всякие гадости, чтобы раздирать себе раны... Паче того, преступления наши, бессмысленные и ужасные, в снах нами содеянные... Мы и так, без того обмираем, мрём от ужасов, уже с утра обступающих нас. Как вот обступают они Вениамина Ивановича... Право ж, Вениамина Ивановича как-то зациклило. С какой-то поспешностью даже (игнорируя просьбы Анечки о том и об этом), прямо с утра Вениамин Иванович удалился из квартиры, – вон. Удалился себе восвосяи. То есть погулять вышел.

Однако же не просто так... Тайный, некоторым образом даже зашифрованный, смысл имел вояж Вениамина Ивановича. Не так чтобы просто так Вениамин Иванович вышел. Вениамин Иванович со смыслом выскочил из квартиры.

### **3. ПРОМЕНАД ИЛИ ГУЛЯНИЕ. И ПЕРВЫЕ ВИДЕНИЯ**

Вообще говоря, сделаем краткое, а может, даже и длинное, как получится, отступление...

Венечка, Вениамин Иванович Голубь, отставной художник управления ЖКХ, любил иногда прогуляться по Орловскому, как бы это сказать, то ли проспекту, то ли бульвару, то бишь по улице Ленина, Болховской бывшей, таким фертом, привлекая к себе внимание разного люда, собственно тружеников искусства, с утра уже высыпающих на улицу и маячивших там-сям у порогов вдоль улицы, по всему её спуску, начиная от губернской площади и кончая Александровским мостом, ну, точно таким, как в Париже, как и в Орле, Александровским.

Стоит заметить, Вениамин Иванович даже если только мысленно приближался к мосту, как уже становился взволнованным. Сердце у Вениамина Ивановича сладко сжималось, – когда-то он сам там, не здесь, а в Париже, бродяжничая по Европам, стоял там, над Сенной, на Александровском, вместе с Анечкой, обнимая её за талию. Немного даже переклоняясь спиной через перила, Аня подставляла ему губы, и Венечка ловил их вместе с летевшими из под косынки золотыми её волосами, падающими ей на губы и развевающимися над золотыми орлами России – там, снаружи, за аркой, сбоку пролёта моста.

Обычно, как всегда это бывало, едва выйдя из подъезда и промахнув двор, Веня вступал под арку дома, параллельного своему, арку, которая выводила его прямо к художественному салону, то есть прямо к проспекту. Там сбоку высоких дверей с ползущей вверх по углу изящной гирляндой из медных цветов, орфических струн и даже ксиллофонических палочек, под ажурным навесом, под кованной его сенью, стояла одна фигура, как изваяние, печальное, под шальями на плечах, проеденными молью, с откинутой от лица на сторону вуалью... Веня уже и не мыслил Орловского проспекта без измученной сей фигуры, без

высокой благородной флейтистки с изможденным и длинным лицом, напоминающим лицо, гм, лошади, или, скажем так, Ибиса (с мордой собаки) на египетских фресках, и в руках с дудочкой... Вениамин Иванович с другой стороны улицы немножечко слушал её и умилялся божественной музычке. Если бывал пьяненьким, клал ей копеечку в шляпку, рублёв до пятидесяти, трезвым не клал, берег всё же копеечку. Копеечка к копеечке, глядишь, и машина будет Манечке.

И всё же, случалось, что-то точило изнутри Венечку.

То есть, в связи с флейтисткой...

Как-то хотелось устроить Венечке эту не пристроенную, неприкаянную и окаянную жизнь. Конечно, может быть, этой «лошади» (с головой собаки, то ли крокодила, уточнял про себя Венечка) просто нравилось быть на публике. Однако ж смущала шляпка с денежкой... И это её, пушай и поношенное, и всё ж какое-то даж бесстыдное благородство, сквозившее ну прям из каждой складочки, из каждой поры её академического платья (академического в чем-то, и однако ж – безусловно, как полагал Веня)...

Словом, Веня ещё немножко задерживался.

Мысленно, только мысленно, Веня доставал из штанов карандаш.

Не по картону, прям по воздуху, наспех, с великой поспешностью даж и тем не менее с молниеносной точностью вызревшего в сердце замысла чертил он по воздуху некие контуры и, опуская их книзу, клал ей в шляпку золотые червонцы, царские; подкапывал поднос к ней, как в ресторанах, сверкающий, с шампанским в ведёрке со льдом, кусками наколотым, местами ж сыпучим; к ведёрку с шампанским рисовал тарелку, настолько тонкую, что светящуюся, из фарфо-



ру, с чёрным светящимся же виноградом, к сему добавлял другую тарелку, поглубее, фаянсовую, полную снедью, с целой горою котлет, поскоку, конечно, «лошадь» голодная. Потом – шоколад, в хрустящей обертке, – ломать и бросать в фужеры с шампанским. М-да. Девицам, им ндравится, – кусочки туды-сюды, вверх-вниз плавают, завлекательно очень... Поверху, над головою флейтистки, пускал ангелов с луками и стрелами. Пущай жалят. Можя, влюбится в кого, хучь и в Веню, любовь окрыляет человека, любую даж даму, даж в солидном возрасте, бывает... С любовью в сердце как-то оно, конечно, не так, что совсем помогает, но всё ж таки как-то оно полегче жить...

Уже отходя, Веня оглядывался. И, господи боже мой, случилось, глазам собственным не верил. Не верил, однако же тихо радовался. Манкируя чё-т шампанским, «лошадь» быстро и жадно ела, сметая с тарелки одну за другою всю гору котлет. Должно быть, сильно оголодала, заключал для себя Веня.

Словом. И Далее.

Насладившись музыкой, тихой и светлой, как светлое христово воскресение, прибавим, ещё и колдовской, как смех русалки в майскую ночь, как полевые бубенчики за окном несущейся в поле по дороге кареты с невестой, увозимой из церкви женихом, так вот, далее Венечка переходил от салона несколько ниже, от волшебства к реалиям, так сказать, на пяточок, под клумбы с наивными глазастыми фиалками, у кинотеатра «Победа», на месте снесенной некогда Георгиевской церкви, к брянским заезжим бродячим музыкантам, чуть свет уже выползавшим из подворотен на улицу с подпухшими и потухшими от недосыпа сивушными лицами (что, поделаешь, дань искусству), и угощал братию взятыми так, чтобы про запас, папиросками.

Надо сказать, Веня до сих пор курил советские папироски и на дух не переносил сигарет. В крайнем случае, когда исчезал «Беломор» в киосках, пользовался табачком, с грядки...

Откроем секрет. Веня выращивал табачок дома, у себя на балконе, отменно даже застекленном (от холодов) и с некоторым подогревом, хм... Между нами – Венечка поворовывал электричество, вставляя в провод иголку... Но строго между нами... А то упрячут в тюрьму Венечку... До времени... До естественного, как бы это сказать, феерического и страшного своего финала, который ещё ждет впереди Вениамина Ивановича... И, может быть, даже так, что нас всех...

Два-три куста в сиреневых с синеньким – пахучих соцветиях -вымахивали у Венечки аккуратно к осени.

Веня тогда настезь распахивал окна, и табак заволакивал двор и даже окрестности, будто дымом.

Табачок накрывал весь город усладительным преприятным запахом, заставляющим останавливаться мужиков в недоумении и, паче того, замедлять движение баб, извините, жён орловских, облечённых в солнце, красивше которых нет, даже в целом мире, – кто-кто, а Венечка знал толк в женских формах и прелестях, прелести премного умножались при окуриваниях, даже не ладаном, табачком, ибо табак так обвевал их, так усладительно, столь убедительно, что они останавливались и распускали – прям на ветру, посередь улицы, по целому городу и надо всем им золотые их волосы.

Будто Анечка над Парижем. Будто Богородица над Орлом так раскидывала покрывала, воздушные и нетканые... Никому от Вениного табака не было спасу. Даже Евангелина Иоанновна, и та, бывало, скрученной Веню папироскою баловалась.



Бутылочки же Веня принципиально с собою не брал, хотя и жалел братию, – однако же неприлично, да и нельзя с утра напиваться. Если не до вечера, то хотя бы до полудня нужно ждать, и с полудня, значаца, с исполненным чувством долга, то есть в полном соответствии с академической наукой, с лёгким таким сердцем – ну, напииваться...

Профессор Углов и тот так советует. И Ане всегда так советует Веня. Даже настаивает на неприятии до самого полудня... И Анечка, даже она, случается, слушается Венечку. Пропадёт без Венечки Анечка. Места ж живого в голове у ней нет. Не голова у Евангелины Иоанновны – кладбище. То есть нейронов. Так говорит профессор Углов. Ибо нейроны, иначе говоря, нервные клетки, они погибают от алкоголя, обыкновенно – мрут. За один раз только – компаниями, семьями, целыми миллионами, а то и миллиардами, смотря сколько на грудь примешь. От одной только пьянки... Ну и до другой, значаца. Сколько ж у самого Вени их было? Пьянок то есть. Много. И вот, значит, Веня посчитал.

Ежели поставить клеткам, то есть каждой мёртвой Вениной клетке – по памятнику, а нельзя же так, чтобы обижать какую, – Веня умножал мильоны (миллиардами умножать не решался) собственных клеток, вымерших только в одной голове Вениной, на сотни, нет, на тысячи пьянок (и то, прикидывал Веня, мало, потому что их было бессчётно), прикидывал и ужасался, – даже тогда можно утыкать монументами не только Орёл, Россию, но и целую, всю землю! – не без некоторой гордости заключал Венечка (ибо высокая мысль была у Вени). Получалось бессчётно памятников! Вона какой человек Венечка! Веня всплакивал – жалко всё ж было Орёл. Этакая тьма памятников. Ни домов, ни кафе – негде будет даж поселиться, чтоб жить, даж прит-

кнуться, то есть присесть, чтобы выпить. Токо одни памятники – с севера на юг, с востока на запад, вообще, по кругу, а также вдоль и поперёк, ну и обратно, значаца... Занятно-с... Венечку пучило, распирало от высоких и печальных мыслей. Можно заселить Вселенную. И не одну. Потому что вселенных много, несть числа, как утверждает сэр Ричард Пенроуз (есть такой английский математик и мыслитель, провидец, Венечка зачитывался его трактатами, это кстати). Но вот такая, значаца, у Венечки голова, что на целый континуум хватит. Стоит надеяться, во всяком случае, что достанет и монументам (травленного и погибшего разума), всем памятникам хватит во Вселенной места. Тем паче, ежели они распределяться по целой куче Вселенных.

– Наше Вам!

– И Вам... – Вениамин Иванович в смущении теребил бородку, приподнимал берет, изрядно потрепанный, – наше... – и кланялся очередному прохожему, который приветствовал Вениамина Ивановича. Вениамин Иванович никак не умел привыкнуть к тому, что он знаменит. Ну уж определено, что здесь, на Бродвее. Орловском-то. А Орёл – пуп. Как мы уже сказали. Вся земля русской. Значит, пуп мира. Вениамин Иванович – пуп пупа. Центр Вселенной, да.

Правда, случалось, что отбоя от прогуливающихся по Арбату у Вени не было. Как от мух. Всяк хотел послушать Веню, приобщиться, так сказать, к культуре его мысли. Тут главное – масштаб. Глубина мысли и высота духа, полёт вениамино-ивановичей мысли. Сопряжение с общечеловеческой и даже вселенской мыслью, ибо и её нус (ум) Вениамина Ивановича пронизал. Вениамин Иванович читал в провалах меж звездами. Проглядывал тайные знаки равно в египетской и иершалаимской тьме, выживая

их оттудова. И как-то так просто (мудрец!) увязывал с учением Канта о человеческом разуме, с фиалками на клумбе (при этом он зачем-то поглядывал на дам и говорил о расцветке французских шляпок, которые носят мадемуазель в Париже, как же, бывал там) и, наконец, глаголет о погибших нейронах в его голове, в мозгу то есть. И, правда, даже дамы заслушивались. Плакали. Вышибал таки даже из них Вениамин Иванович слезу. То есть, такой был Вениамин Иванович весь из себя трогательный, тонкий льстец, потайной, завуалированный, проказник, обольститель не только умов, женских, или там сердец, но даже угодий их, – груди у дам, когда Веничка говорил, выпячивались, как-то сами собой, губы же тянулись к нему, складываясь в трубочку, для поцелуя... И да, Вениамин Иванович, случалось, срывал поцелуи. Будто бы целомудренные... Но тут ведь как знать... Тут всё покрыто туманом. Да, Вениamina Ивановича прямо на улице целовали! И что же вы думаете, господа, случалось, – взасос... Знамо дело, в душе, внутри там у себя, Вениамин Иванович был – сладострастник, о, это само собой, и даже, впрочем, снаружи. Сладострастие его различалось даже в звуках, произносимых им. Стояло в воздухе. Как табак. Дамы-с дышали им. То есть в то время, как Вениамин Иванович завлекал их и заволакивал звуками, умел он. В самом деле, одно ведь дело – табак, которым он окуривал барышень. Другое всё ж – мифология!

Вениамин Иванович прям таки сыпал античными именами. При бабах, конечно, мужскими. Понятие имел. На чё бабам – женские... Вообще же...

Господа, Вениамин Иванович, не так, чтобы так, Вениамин Иванович был поклонник – богинь, тайный... Дриада, нимф, ор и харит. Случайно ли, что первым в списке обожаемых им творцов – чьё бы

вы думали было имя? Ну конечно, – имя Сандро Боттиччели. И его Весны. Вечной! Primavera!! Потому в петлицу пиджака (или комбинезона) Вениамин Иванович всегда втыкал – ветку оливы, цветок примулы или цветок – табака. Нужно сказать, даже зимой цвёл табак у Вениamina Ивановича в окошке – его было хорошо видно, снизу двора, как стоит он за оконною рамой, – над двором, над снегами. Хоть бы что. Хоть бы хны.

Вообще же, сказывали, будто Вениамин Иванович посещал не один Париж. По пути, дав крюк, будто бы заскакивал в Грецию. И, якобы он, Вениамин Иванович, там, на пару с Орфеем, спускался в Аид, тайно от Евангелины Иоанновны, то есть оттого, что хотел поднять оттуда одну зазнобу, первую, юную, незабвенную любовь свою, то есть Вениamina Ивановичеву (была, была у него такая, до Евангелины Иоанновны, умерла, но только одна, после Евангелины Иоанновны у Вениamina Ивановича никого не было, так страстно любил Вениамин Иванович Евангелину Иоанновну, и просто некому было больше умирать, – посему мы заключаем: Венечка только один раз спускался в Аид). Уф! Как ему там голову, имею в виду, в Аиде, бабы не оторвали, как оторвали Орфею, эти средиземноморские фурии...

Прогуливаясь по бульвару, Вениамин Иванович всегда, будто бы ненароком, случайно – но нет же, не зря, не случайно, брал да и трогал зачем-то руками шею, то есть прохаживаясь между парами. На месте ль сидит... Голова то есть. Для вида же, чтоб не угадали, поправлял бабочку. И убеждался – не оторвали-с...

Вообще Вениамин Иванович непременно, если выходил, то бывал при бабочке. Галстуха не носил. Душит. Давит. Будто петлю сам на себя накидываешь. Будто выходишь повеситься. Манечка говорит, придет день, все, которые при галстухах, все

разом и в один день – на крюках по кабинетам повесятся, то есть удавятся. Не приведи господи, как исполнится по сказанному Манечкой... Ибо Манечка далёко видит... Предчувствует... Не зря Манечка читает Бакунина и – апокалипсис... Напророчит Манечка, вздрагивает Вениамин Иванович.

– Здравствуй! Наше вам!

Нет, правда, как ещё издалёка замечают Венечку. Венечка, чтобы лучше видели, то есть идя навстречу своим почитателям, также и в свою очередь, носит ярчайший комбинезон, чтобы ещё лучше видели, чего же приглядываться, на глаза наводить порчу, для чего искать Венечку, вот он – весь на виду, как маяк в тёмную ночь в море, как горшок на заборе у радивой хозяйки, значица...

Да, господа!

На Венечке не так, чтобы так, на Венечке отменнейший костюм – комбинезон, – от Версаче (так, во всяком случае, утверждает сам Вениамин Иванович). Оух!.. Фьюить! Тин-тин, дра-та-та! Померанчевые куски, быдто солнце, на ослепительной синьке... Горят! Переливаются! Светятся!

Прохожие падают.

Ну те, которые из других городов.

Все едут, чтоб поглазеть на Вениамина Ивановича. Наслышаны-с.

И всё равно грохаются.

Наземь.

Головой о булыжники.

С того, значица, на бульваре – скорая помощь, круглосуточно, чтобы отхаживать...

По честному... Венечка – ходячая иллюминация города (ужасная экономия электричества), и не какой-то там, тмутаракани, – Орла, значица, града. В ентом, нет, в следующем, через год, да кады б и каждый год, – 450 будет граду, да ищё с лих... м, если считать до конца года, по декабрь, значица...

На штанах у Вени, то есть снизу штанов – кисточки. Штаны – с разводами. Разводы

– с разрезом, кисточки – с бахромой... В бахrome семь цветов радуги. Штаны с напуском. Эй-е-ей! Вени, будто вьюгой цветной, метёт по бульвару штанами. Мятётся душа у Вениамина Ивановича! Весне радуется, черёмухе, одуванчикам. Раздуваются ноздри у Вениамина Ивановича от сумасшедших запахов.

Да вправду, как тут с ума не сойти! От столько-то радостей. Как там Евангелина Иоанновна, ёжится Венечка.

Ну и, напоследок, скажем ещё, немножечко, совсем, чуточку, о гардеробе Венечкином, – не можно же не сказать... О Веничкиных-то карманах. Да. Фьюить! Тра-та-та! Едрёна его вошь! И ищё за ногу! Такой вот антаблемент! Такие балясины! Не фунт, господа, изюма! Такая цветистая речь у Венечки! Цветистее и наряднее только мысли у Вени. И – может, карманы...

#### **4. ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ГЛАВА. ПРО ВЕНЕЧКИНЫ КАРМАНЫ, ПИСТОНЫ И ПРОЧИЕ ТАЙНИКИ**

Двадцать семь карманов, ровно, и ни одним, чтобы меньше, имел Вениамин Иванович в комбинезоне. То есть двадцать семь полных кармана, три же – наполовину от полных, пять – на четверть, один на четверть с лих...м, с маленьким лишком, поправляет себя Венечка, а то, как услышит Евангелина-то Иоанновна, – апокалипсис, не дай Бог, случится, не хочется расстраивать Евангелину Иоанновну и вводить оным в ступор целое человечество, да, с маленьким лишком, но только такой один, эксклюзивный, значит, карман; множество – просто маленьких, это когда один в другом, вроде пистонов, внутренних, для часов, скажем, швейцарских, тех, которые на цепочке носят, с откидной серебряной крышечкой, и крышечку эту этак ноготочком отщипывают или отщёлки-

вают, одно слово, фокус, когда вынимают, то есть тащат часы из пистона за цепочку. Веня специально ноготок отрачивал и с особым форсом отщёлкивал.

(Часы, надо сказать, Веня фрицевские имел, не швейцарские, специально за ними путешествовал, в Диц, как бы транзитом, как раз сразу после посещения Аида, вслед за посещением царства, в котором жили мёртвые, то есть подземным же ходом, чтобы не тратиться, для экономии времени; то есть ещё один крюк давал, помимо Греции, ну, прежде чем прибыть к окончательному месту своего назначения – Парижу. Однако ж, направившись в Диц, Веня попал в Берлин. Промахнулся с Дицем, так спешил в Диц, ну и пришлось возвращаться, обратно, то есть – через Берлин в Диц, за часами, значаща, которые Веня как раз в Дице купил; Диц он стоит пониже Берлина, даже много ниже, то есть ближе к Греции, лучший, кстати говоря, городок фрицевский, в смысле всякой всячины, лучший в немецких землях развал, наираритетнейший, там старья не менее, чем в Аиде – вот собственно и причина, по которой Веня из Аида в Диц сигал, то есть через Берлин ещё до Парижа сразу после посещения Греции, таким зигзагом, значит, сложным, с курьезом; да, со сложностями путешествовал Веня, поскольку не много ориентиров имел, – всё ж впотьмах двигался, подземными пробирался лазами, от Аида до Дица через Берлин после посещения Греции и перед тем как оказаться в Париже).

Ещё семь карманов у Венечки тайных, за подкладом, на грудках и животе, туда Веня тайные же такие ходы имел, вроде как под Дицем при выходе из Аида; пять кармашков – под штанами, за отворотами, и два, самых махоньких – внутри отворотов; всех же числом пятьдесят девять, то есть с учётом мелких заначек, вы лучше сами пересчитайте, – случалось, Веня даже сам пу-

тался в кармашках, но это, скорее, для вида, форсил, дескать, столько у него при одеждах ёмкостей, что счёт потерял им, врал Веня конечно, чего-чего, а считать он умел... Всегда давалась ему арифметика, даже с первого класса, легко так считал... Копейка к копейке... Свидетельствую, в качестве, так сказать, летописца Вениной жизни. И, увы, жуткой Вениной смерти... Впрочем, рано ещё хоронить Веню. И потом, все ведь умрём... Даже и которые поздно... Все уйдём своим чередом... Все мы Божии одуванчики... Облетаем, господа, облетаем...

Однако же... Не смею задерживать... Имею в виду тех из господ, которые куда-то спешат... Скатертью, господа, вам дорога. Искусство, оно никак суеты не терпит. Потому Вениамин Иванович с особой любовью выбирал и обихаживал каждый предмет, который носил посередь карманов. Нельзя не сказать о сокровищах сих. Никак-с невозможно.

Вещицы, которые Веня с собою носил, они, как изнутри карманов пребывали, так и снаружи, между прочем, – за – болтались у Вени. На брелоках, липучках, пружинках, присосках, таких – с пистончиками-пульками, с вывертами и боковинами, потом, на шнурочках и разных завязках – разнообразные же занятные такие висюльки, заразы, как говаривал Венечка, отнюдь не безделицы... Соответственно устройство особое было у карманов Венечкиных. Карманы у Вени, как самолёты, были сплошь на заклёпках. Токо что с дырочками. В дырках – кольца с продёвками. И на них, значит, висюльки...

Веня позванивал на ходу, при движении то есть, особенно и даже громко, когда шатался, то есть будучи в эйфории от самого движения, в опьянении самозабвения, так сказать, ну и – если в подпитии бывал, лег-

ком. До тяжелого не допускал себя. Строг был к себе Венечка.

Звучал Веня, как инструмент музыкальный. Как ксилофон. И даже пошумливал. Как сифон, ну этот, сантехнический.

Иногда – постукивал, будто косточками, звук такой был, как с могилки, странный. Бывало, Веня по ночам выбирался из дома, специально, чтобы потрясти косточками, будто колокольчиками, сами колокольчики оставлял, не выносил с собою, шёл только при косточках, попутать прохожих, ночью – таинственной и далеко окрест слышно, не токо вширь, но даже и вглубь Вселенной, до Аида, самого, от земли русской и до греческой, сквозь времена...

Да...

Да, да. С временами, как мы уже где-то говорили, у Вени были свои особенные отношения... Вообще-то со временем Веня особо чтобы так не церемонился. Не считался, значица. Обходился запросто. Когда превращусь в свет, говорил Веня, господа, времени для меня не будет. А я, говорил Веня, всенепременно перейду в свет! Одним таким крупным фотоном стану! Время для меня исчезнет. Господа, говорил Веня, я сам стану временем, ибо, значица, параллельно с им буду летать, то исть, как свет. Поскоку ничё не может его обогнать. Такие вот, господа, значица, пряники!

Возвращаемся, однако, к карманам.

Перво-наперво герой наш имел в карманах свистульки – для детишек, знамо, кленовые, липовые, из лещинки, сливовые, – эти наикрасивейшие, с разводами, с переливами на поверхности, с перламутцами, вишенно-розовые, кипенные, тут с фиолетцем, прохладным, там с синеньким – с холодком, здесь с персидской сиренью, диковиннейшие... Симфония цвета... Да еще с запахом... И так далее... Не меньше семи свистулук имел Веня. В Орле, в нём пацан-

вы и всяких детишек весьма много, обильно... Вон бабы, все они ходят с пузами. Которые нет, – эти готовятся... Вот только свистульки понюхают, как тут же готовится, то исть отращивать пуза... А то для кого же свистульки?.. Да ищё табачку Вениного, с Вениного балкона, с Сада Вениного, всячего, якоже у Семирамиды, понюхают и навдыхаются...

Один свисток у Вени был из капа, срезанного с самой пахучей яблони в период её цветения, в год, когда она, как слёзками, вся закапалась от цветения. Тот лучше других – ароматно – свистел. И, значица, свист отдавал цветом. Этот для внука Веня держал. Придерживал его Веня. Вот разразится внуком Манечка. Как токо оженится. Увы, Манечка, он как-то революциями больше занимался и на баб не смотрел. Некогда было Манечке флиртами разговляться.

Три вида ножичков имел Веня, – нож-бабочка, мульти и складной, фасонистый, с наборною рукояткою, из плексигласа, и с фиксатором, вроде как холодное оружие, – четвёртый нож с янтарным набором дома Веня оставлял, слишком заметный, яркий, спит. Один, с клипсою, за голенищем сапожка держал, два других на темляках попрыгивали.

Далее. Отвёрточки, само собой, крестовые и прямые, обычные, тупейные и острые, одна с лампочкой для определения электричества. Веня сам сверлил дырочки в рукоятях для продёвки колец и дальнейшего сцепления их с карманами.

В шелковых кисетах (для сохранности оптики и чистоты стекла) два фонарика Веня держал, светодиодных, – наипоследние, писк моды, – на батарейках, с батарейным запасцем, третий – с жужжалкой, допотопный, Веня пальцы им укреплял. К сему спичечный коробок, как водится, со спичками в целлофановой упаковочке, чтоб не промокли. Свечечки, – на помин души.



Зажигалочки, газовые и на керосине, с музичкой и подсветкою, турбо, обычные и совмещенные. Вообще Веня был весь такой зажигательный малый, парень – огонь.

Компас, само собой, чтоб не заблудиться, пинцет, лупа, завязочки, бечёвка, шнурочки, леска, ну и конечно рыбацкие колокольчики, спаренные, такие заливистые, что ой-ё-ёй, крючочки, – рыбаков ими пользовал, как к Оке выходил или Орлику, а то на Сухую Орлицу топал, и выше до земляничных полян, полакомиться ягодой.

Бинт, йод, зелёнка, эти, как их, лейкопластыри, аспирин, сульфадемизины, кровоостанавливающее, отхаркивающее, ну и понятно, слабительное – от запоров, – ну чё, ребята, страдал Веня перистальтикой, постоит 24 часа пред мольбертом, затаивши дыхание, над красотою-то, да самолично ищё изваянною, у вас кровь остановится, не то что – кишочки. Потом. Веня больше всхумятку питался, к тому же любил булочки, которые с изюмом.

Опять же для улучшения питания имел Венечка котелочек и мисочку. Понятно – в карманах. Правда, объемом с напёрсток, и всё же, – мало ли что, вот как в лесу там заблудишься, с Орла выйти в лес – раз плюнуть. Соответственно для похлёбки – соль, пару сухариков, грибочки в лесу найдутся, прочее тоже. И на десерт – чай и кофе, в пакетиках, любил комфорт Венечка, две-три леденцовых конфеты (сахар, он сыпется).

Наконец. И это самое главное. Содержание внутренних органов – вещь, конечно, достаточно важная. Поддержание внешнего имиджа – категория абсолютная, преважнейшая.

Вот почему... Всенепременно...

Бритвенный прибор при себе носил Веня, не так чтоб так, но – как ревизор, энтот, у писателя (с длинным носом) в ящичке, так Веня в карманах, без ящичка даже имел

– прибор – с натуральной мыльницей, помазком и обмылком. Под носом особо тщательно подбривал. И даже вокруг носа. По околицам. Без обмылка застрянешь. Право, Веня не любил бриться всухую, между тем, бывает, за дамой настолько увяжешься, день другой за ней гонишься-ходишь, за красотою-то весенней, на предмет рисования, – сам же не брит, нехорошо-с бывает, за угол дома заскочишь, мыльницу на подоконник, обмылок в мыльницу, поплюёшь на обмылок, распушишь мыло, смотришься в раму перед собою, застекленную, аки в зеркало, и себе под носом да под щеками бреешься... Заметёшь волоса кисточкой, тут же в хвост к даме, вот я, тут, это я, Веничка (не то что там какой-то Эдичка, Венечка явно сим намекал на очередной некий литературный роман и очередного литературного персонажа, много читал Венечка)...

К сему, то есть из того же разряда, для подобных же целей – сапожные гвоздики, да-с: что как слетит подковка с сапожка, отчепится наращенный каблучок, – Веня прибавлял себе росту с помощью накладочек.

Соответственно Веня имел молоточек, наковаленку, всё своё ношу с собой, ну и разные там штучки-дрючки: набоечки, стальные и кожаные, подковочки, те же гвоздики, шурупчики, болтики, винтики, гаечки, значаца, на всякий пожарный случай, плоскогубчики, щипчики... Это уже чтобы – дёргать волоса, ну, скажем, из носа, или из ушей тоже (случалось, из ж...), полезли чё-то, потом, такие – снимать заусеницы, соответственно – пилка для ноготочков, отдельный прибор для завивки волос, с разогревом на батареечке, ну и так далее... Веня всегда содержал себя в отменном порядке... Посему ж сменные бабочки под шею, три платочка, носовых, – сморкаться, для себя, и один – для дам-с, нет, два кажется, может быть, даже четыре... А то и все пять. Для мамзель то есть. Когда ду-



хота, тогда – чтоб оттираться. С небрежностью так подносил им. Умилялись дамочки. Иногда ж и сами спрашивали: «Нет у Вас, Веня, платочка!?» «Как же! – отвечал Веня. – Есть! Для Вас, сколько угодно!» С вензелями платочки были. Евангелина Иоанновна старалась. С ангелочками. С амурами. Греховные. Со стрелами и сердечками. Алыми.

Далее.

Беличьи кисточки и краски, в тюбиках, и их под рукою держал Веня, вдруг вдохновение найдёт, сверзится с неба.

Потом, бумажек разного вида и сорта от пяти до семи имел; во-первых и прежде всего картонку – для рисования; далее: бумагу веленевую – для записок при вдохновениях; китайскую, с пудрами, рисовыми, – черкнуть там письмецо даме и передать, тайно; для табачка – папиросную, с лёгкой прозрачностью; для подтирки – потолще и мягонькую: право, бывает, так приспичит, что ай-я-яй, особо после сливочки, Аниной, и хуже того – в виду красавиц, прямо и непосредственно пред ними, в виду близости их... Слаб был на женский пол Веня, и такую слабость пред ними имел, что – ну прям на глазах у них, то есть буквально, – ну чё тут – перед всякою красотой обсирался Веня, так красоту любил... И это-то несмотря на запоры... Так слаб был пред красотой Венечка... Такую власть и такое могущество красота имела над Веней...

Вообще всегда и во всём для красоты старался, допрежь всего, Веня.

С того и кармашков мелких, значит, много имел...

Два пистона – с душицей, один с мятой, это прелюдия, потому что был у Вени ещё липовый пистон, три черёмуховых, черёмуху Веня просто-таки обожал, пол-пистона (да, да, были и такие) с акацией, акация это страсть Веничкина; один пистон с бархатным подкладом, другой муслиновым, атласным, и этим еще, как его, казимировым,

пятый с начёсом из чесучи, сами для чего догадайтесь, седьмой, осьмой, девятый, десятый и так далее, миткалевый, ситцевый, газовый – с чередой, чабрецом, с жасмином, с толченым вишенным и смородиновым листом.

И еще флаконы имел, чтобы сбрызнуться, с пупочкой для нагнетания воздуха, как в парикмахерской, чик-чик, пук-пук, – и вот уже Веня благоухал, как сад на рассвете, как ветка, полная листьев и цветов, как у этого, как его, вылетел из головы автор (спрошу у Вени, он вспомнит), как Соломон за священнописанием в садах наподобие Едемских, как Лука евангелист за Евангелием, как само Евангелие душистое со страницами, пропитанными пчелиным воском, прополисом да маточным молочком... Много, много Веня читал...

Ну что тут... Не корите Веню за излишнее обращение к вышним текстам, за вольное обращение с ними, некое даже злоупотребление писанием. Ну да, злоупотреблял Венечка... Паразитировал, можно сказать, на писании... Энергию его пил... Красотой его упивался. Но ведь по простоте душевной. От внутреннего притекающего к нему блаженства. Много Веня блаженства даже от одного созерцания вечной книги имел. Да жалко вам, что ли... Вон, Святой Августин – оттого что много над книгой склонялся, оттого что глаза над нею просиживал, ум же и душу напитывал, – так и именовался – Блаженный. А что, спрашивал себя Венечка, Златоусты Евангелием не упивались? Не дышали им?!. Не вдыхали с полей и страниц священнописания?.. Не напитывались им? Не отдыхали под светлую сенью вечной книги? Не только горечь, но и красота мира сошлась в Евангелии. Это Венечка даже лучше других знал. Тем и спасался. И не одну «Исповедь» Августина, но даже и «Град Божий» читал Веня. И в Ветхом Завете

те не только Иезекииля... Всего Соломона и даже наизусть знал, как утверждал Веня. Песню песней, так ту Веня вообще до дыр зачитал. И прямо иной раз светился. Как виноград. Который в Саду Едемском. От чтения то есть. Весь Веня был такой, быдто только из Сада вышел, с таким вот ликом, осыпанным Едемским светом, светом Вечной книги. С сиянием на лице Веня ходил. И шёл по земле, будто Садам шёл. Для чего же и дано Евангелие Вене, как не для радости... Горя у Вени и так хватает...

Да впрямь ведь святой был человек Венечка... Свято верил в немислимые даже вещи. Вот, письма мироносицам на тот свет писал. От руки. Каллиграфическим почерком и соответственными перьями. Тушью. Иногда красками. Для приумножения смыслов и придания им радости. Как если бы светописцем был Веня. Солнышками и цветочками разукрашивал Евангелие, простите, письма. Но и Евангелие тоже. Ромашками. На тонких таких ножках. Одуванами. Которые летали над страницами и над полями у Вени над славянскими шрифтами, буками да ведями, да глаголами: Буквицами же, на славянском писал Веня. Конверты спрыскивал. С помощью той же пупочки. Перевязывал ленточками. Шёлковыми. И запечатывал сургучом, разогретым, к которому прикладывал печатку с розою, нисейской, античным, значаща, символом, тугим бутонотаким... – Primavera. Весна. Вечная! Рецепты всяческих мастей у мироносиц испрашивал. Чё да как, как составить такой, чтобы самый сладостный... То есть букет (из ароматов и запахов, мира, нарда да ладанов)... У Вени был даже алавастровый сосудец такой приготовлен с узким горлышком для драгоценного снадобья, с печатью на цепочке, печать, само собой, с розочкой. Чтобы залить и тотчас закупорить. На улице открыть и, испросив разрешения, – полить на головку

барышне, разрешала же как одна, полить то есть, на власа её золотые, которыми она, душистыми, глядишь, ещё оттирать будет ноги Венечке. Далёко в мыслях своих заносился Венечка. Умацивал волоса барышням, а сам крестился. Случалось, стопочки доннам помазывал. Выбирал же таких, у которых икры белые, как если б берёзовые. Primavera! Весна. Вечная! И только таких, которые гуляли в сандалиях, так, чтобы на босу ногу. В просветы плетёнок меж пальчиков розовых капал... Чтобы тут же падали... Мало было одной Вене скорой помощи. Хотел много. Чтобы Орёл в лёжку лежал от благовоний. Земля в Орле благоухала... И за Орлом. И над Орлом тоже. От Орла ж и Россию сладостно так обвевало... Вся Россия чтоб бывала умощена... Вся светилась и благоухала! Ой ли, лю-ли, лю-ли! Трава зелена. Фьюи-фьюить! Чик-пук! Дра-та-та!

Письма... Письма, которые на тот свет отправлял, за подушкой прятал Веня. А то сочтут сумасшедшим. Которые же получал, с того света то исть и на обратный посюветный адрес, от жён израилевых, по две тыщи лет им, а они всё такие ж юные, те, письма то есть – в чулане, в подвале, держал, частью в берестяном туеске, частью в ивовой корзинке, в углу, за картошкой. Чтобы ФСБ не добрался. Или какой нерусский шпион. А то – собственно иноземец, того хуже, с какого-нибудь угла, затканного паутиной, Вселенной, – иначе говоря, чёрт, по Федору Михайловичу Достоевскому. Хотя... чёрт у Федора Михайловича, кажется, помещался в бане... Но это не суть важно... Словом, у Венечки и подвал благоухал, и даже все клетки. Все тряпочки. До одной. Таков был весь, как он из себя есть, светлый и душистый человек (по всему) Венечка.

Веня, опять таки ж, не так чтобы так, не сикось накость, а самый кулёк заканчивал, то

исть институт культуры в Орле, заведение наиартистическое... Отсюда и всеобъемлющие, так сказать, познания. На лекции Веня приходил с черепом – Йорика, у студента с медицинского выкупил, будто бы выпаренный, не заразный то есть, и всенепременно выставлял его перед собой, глазами к кафедре прямо в зенки преподу... Преподы уважали Венечку. Только у Вени был такой – настоящий, и даже с челюстью, череп, у остальных – с киосков – на брелоках, без челюстей, как сейчас у самого Вени... Манечка передал Веня юношеский череп... Маня моления к нему имел, свои, тайные, как у розенкрейцеров, как у вольных каменщиков, свои молитвы пред идолом сим творил. Как бы не создал сообщество Манечка, бесовское, тихо крестился и вздрагивал Венечка. Что там у нас с Мусечкой? Что там у нас с Евангелиной Иоанновной?

Правда, затянулся наш роман с одеяниями Вениамина Ивановича, с карманами его, благовониями да помадами. Пора нам возвращаться – к пинцету и лупе...

Да нет же, ещё немного... Ещё манечко... Ну, самую малость...

## **5. ВНИЗ ПО БОЛХОВСКОЙ. ВЛЮБЛЁННЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ДРУГИЕ**

От брянских бардов, немножечко утомившись от дребезжания гитары с пионовым бантом на колке, ну, таким же пышным и взволнованным, как пионы, которые на ветру качаются в мае, Венечка переходил к булочной, под витрины в высоких скругленных окнах с соломенными бабами и мужиками. Немножко заглядывался. Не мог отказать себе в удовольствии, так падок был на чудное Веня. Случалось, глядел, разинувши рот. Сколько раз ни глядел,

а всё не мог налюбоваться, никак не умел нагладиться, глаза разбегались пред булочной у Вениамина Ивановича.... Да как тут пройти и чтобы мимо. Даже одной травки-муравки мимо – лён белый, долгунец да кудрявый. К сему кукушкины слёзки, вздрагивающие. Мамочки! Соломка ржаная. Метёлочки мятлика! Тканье такое паутинное! Тонкое. Голова у Вени кружится! Шитие зернистое – овсяное да пшеничное, просяное да маковое! Серёжки на Леле барбарисовые – светятся, в букетике райские яблочки с каплями ландыша. Не смотри что сухоцветы! Медовые! Пряничные! Присказка. Сказка, она впереди. Возок с мужиком с горки катится. Никак расшибётся. Карета с откинутым верхом–гармошкой по мосту-мосточку движется. Трясётся мосточек. Барыня под белым зонтиком. Купол шёлковый. Будто бы прям от куколки, так ослепителен ейный зонтик. Спицы от пёрышек гусевых. Оторочка горностаевая! Купол в одуванках из пуха! Барыня тяжелая. Что как мост провалится!.. Мама! А то ветряком снесёт шляпку барыне. Так высок ветряк, что над самым мостом крутится. Вровень только журавель колодезный. За мостом далее водяная мельница с колесом, с лопастей вода льётся. Да внизу везде подворья – тёсом. Терема да избы. Овины да шиши, островерхие, со снопами в низках, льном вязаные. Стоят сушатся. И далее, там и сям омшаники, за горожей житницы, под горожей баньки с поленницами, бисерными, хлевы да сенники. Ой ли, лю-ли, лю-ли! Русь деревянная! Посконная да конопляная. Толоконная! Чадная да угарная! Избы еще, видно же Вене, по чёрному топятся. Терема курные.

– Как бы глаза не проглядел, Вень Ваньч!

К Вень Ваньчу подкатывает тележка с известным в Орле церебральным, который

ездил в самые Сочи смотреть паралимпиаду и видел там Путина.

Виляя между ногами прохожих, Серега весьма умело управляет тележкой, отгалкиваясь от асфальта лапкой в кожаной варежке. Другая, сухонькая, – на отлете. Ноженьки-ластыньки на весу, по-над землёю плывут, параллельно земле. Тельце изогнуто-вывернуто кверху, – венчает его, как у Змея Горыныча, неправдоподобно большая голова.

– Чё-то, правда, слезятся... Плакать, от, хочется... – отвечает Веня.

– Позвени себе колокольчиками, Веня Ваныч, которые у тебя на шляпе! Мне они тоже ндравятся. Такие залиvistые! Тоска и пройдёт.

Вениамин Иванович нагибается к тележке с убогим, звенит.

– Ой, не можу! – заливаается Серёжа.

– Ищё?

– Ищё..

Убогий слушает.

– Ой, знатные! Целый день бы слушал.

– Диктофон тебе с певчими птицами принесу, с записями... Вот где – не нарадоваешься...

– Быстрее неси! Каки там птицы?

– Наилутчшие, – отвечает Вениамин Иванович.

Серёжа оглядывается...

– Ждешь кого?

– Иван обещался подъехать! Заплатку наставить. Варежка у меня прохудилась. Наталья ещё вчера с вечера мерку сняла. Иван как подъедет, так на месте и справит.

– Покажь!

Серёжа отрывает от пола руку. Лапка скрючена. Он тылом ею гребёт, костяшками пальцев. Варежка, как перчатка у велосипедиста, на пальцах открыта, чтоб дышали эти пальчики, тоненькие, скрюченные, быдто у паучка.

– Смори!

Убогий держит перед собой лапку, кверху костяшками, тылом к Вениамину Ивановичу, одному богу известно, как он сохраняет при этом равновесие на тележке.

Вениамина Ивановича слегка мутит.

Свиная кожа как бы срослась с человечьей, местами то ли выпала, то ли сошла на нет, от трения растворившись в асфальте, в бетоне и камнях, от которых Серёжа отгалкивается при рулении.

Не костяшки у Сережи – мозоли, в цыпках, в задубевшей, проступающей через отвердевшее сусло крови.

– Быдто чага, – вздрагивает Вениамин Иванович, – narосла...

– Чагой от онкологии лечатся, – замечает Сережа. – О! Смори! Иван с булочной выехал! А я его коляску со стороны костёла жду...

К церебральному подъезжает увечный. Иван Перегудов, сапожник, герой Чеченской кампании. Коляску толкает жена Ивана – Наталья. Она же с утра отвозит его на работу, к вечеру забирает обратно домой.

– Серёга, привет! А, тут и Веня Ваныч! Не вгостишь папироской?! Да чтобы с табачком законным!

– С ба-альшим удовольствием!

Веня Ваныч скручивает.

Иван Иванович, могучий, безшей, безногий, синеглазый, пшеничноволоосый и кудрявый, – штаны подвёрнуты у него под коленки, – нагибается с коляски к лапке Серёжиной, распаковывает её, осторожненько стягивает...

– Ты чё, Ваныч?! Прямо на руке делай!

– Цыц! Сшил тебе новую!

– А подойдёт?

– Наталья же обмеряла... Она у меня в подмастерьях.

– Новая! – Серёжа сияет от удовольствия.

Иван уже снял панцирь.

Серёжа от восторга бьёт костяшками

правой по костяшкам левой, недвижимой, зависшей в пространстве руки. В ладоши, значит, хлопает.

– Ишь, как рукоплещет! Смори, ото-бьёшь! – Наталья трёт платочком в уголках глаз. По соринке, верно, в уголки попало.

– Они в меня железные! – лицо у Сере-жи корчится, дёргается, – от преизбытка душевного, от тихого, невыразимого, ред-кого, полного счастья...

– Так... Пусть рука маненечко отойдёт... Потом оденем варежку. Мы ж перекурим, да Вень Ваныч?!

– Знамо дело...

\*\*\*

Бог знает, с чего иногда тоска человека берёт... Так вот и с Вениамином Ивановичем...

Вениамин Иванович спускается к кино-театру Победы, к широким его ступеням, первой из них. На ней восседает собрат пачкун, который рисует шипучими красками из разноцветных флаконов, он ими бьёт из флакона в картон, – молодая, так сказать, порось, постмодернизм, – пачкун-иллю-минатор с экзотической техникой рисо-вания, на глазах у толпы творящий шедевр (за шедевром) со скоростью, которая заво-раживает современников. Он изображает над неспящим Орлом (в ночь на 5-е авгу-ста) один неизменный сценарий-сюжет, но каждый раз в поражающих человеческий глаз немыслимых даже для глаза оттенках – победный первый салют над Орлом в ночь освобождения (от фашистов)!

Нет, Вениамин Иванович даже не смот-рит в сторону подмастерья, презирает, – проходит сквозь – зевак, как корабль, – пе-ред кораблём же всё расступается.

– Здравте! Здравте! Здравте!

Вениамин Иванович не отвечает.

Тоска у него глубже и шире, и всё неиз-бывней.

Великая грусть охватывает душу Вениа-мина Ивановича.

\*\*\*

С бульварной дорожки он сходит на мо-стовую с тускло убитым булыжником к вы-соким на тонких кованых ножках широким чашам с цветами, покачивающимися над узкими, несущими их, коваными же ладья-ми. Ладьи с цветами плывут по бульвару вниз (и вдоль по всему бульвару) к Алек-сандровскому мосту. Вениамин Иванович по булыжнику цокает. Подковочками. В такт лошадям, конному то есть разъезду, ну, полицейскому, по другую сторону тече-ния цветоносного... Ну, угораздило, думает Вениамин Иванович, щас схватят, – пова-нивает же, несёт же от Вени сливочкой...

– Физкульт привет Вениамину Ивано-вичу! Чё пеший то?

– А... Здравте!

Лошадь под красивой наездницей в форме, под капитаншей, лошадь, она оста-навливается и, мать честная, – метит буль-вар...

Вениамин Иванович тоже приостанав-ливается и приглядывается.

Грусть он на время упрятывает...

– Ё-моё! – восхищённо цокает, теперь языком.

И – через паузу:

– Не, какая непосредственная животи-на... Искренняя...

Вениамин Иванович перебегает по га-зону на другую сторону улицы и устраива-ется вслед за конным разъездом впритык к тугим лошадиным ляжкам. Так интересней.

«Цок!» – лёгкое, звонкое – от сапожек Вениамина Ивановича с серебряным при-бавлением «дзинь» от шпорцев на пуклях с орлами (а как же!), привинченным к каблук-



кам. И: «цок-цок» – спаренное твёрдое и тяжёлое от дуэта под капитаншей и влюблённым в неё, видно же, то и дело дёргающим лошадь за мундштук, лейтенантиком.

Молоко еще не обсохло на губах, – чтоб его сбросило...

Влюбился вот в капитаншу, а на месте Вени так в лошадь бы...

Какая-то вакханалия. Как-то всё перевернуто в этой жизни. Чё то не то с арифметикой, чё то не то с физикой... Однако ж нельзя проявлять неуважение к лошади...

Нет, не унять Вене чудной его грусти... Не спрятать... С грустью смотрит он на ухоженный гладкий атласный зад лошади, одной и другой, на лейтенантика и на капитаншу в погонах, и даже на ряд осеняющих их сверху лип. Липы тянутся, что по одну, что по другую сторону улицы, то есть кторую стороной ни двигались бы лошади или шествовал Веня, и Веня и лошади, оне всегда в тени лип. Стриженные, они купами падают вниз, обметая голову и Венимину Ивановичу. Из-за стрижки они и зацветут последними, когда уже все самосевки-цветы в Орле отойдут. Правда, бульвар будет благоухать. Как сейчас благоухает мост Александровский (от акаций), Александровский, императорский – цель Вениного путешествия. На пути из Таганрога в Москву... По мосту, по сему вот мосту пронесли мертвого императора с последующей остановкой на ночь в церкви Михаила Архангела справа моста. По мосту пронесут Веню... По мосту, как императора... Здесь, на мосту, они целовались с Аней. Так же страстно, как целовались в Париже... И там, в церкви Михаила Архангела, где стоял гроб императора, там будет стоять гроб Венечки. Но прежде его пронесут здесь, между колонн с державными над мостом орлами... Мост, можно сказать, ежедневная цель Вениных путешествий. Тихая боль Вени, Венина грусть, Александровский

мост, перекинутый над рекою, последний приют беспокойного странника.

Когда-то носились по мосту кареты... Когда-то ходил трамвай, через реку, вверх, по Болховской, – кстати говоря, мы и далее и ниже будем именовать улицу Ленина Болховской, как в старину, так приятнее, – и бежал обратно, придерживая на тормозах, сверху ... Перевелись извозчики да каретники... Убрали, снесли с Болховской и пустили по Карачевской рельсы... Смахнули половину брусчатки... Взорвали на Пролетарской горе (бывшей Георгиевской) Георгиевскую же церковь... Переименовали улицу... Вообще, когда бы вернулись те времена, да когда бы оборотилась жизнь и самого Вени, Веня – (отчего-то верил в это Вениамин Иванович Голубь) – сделался бы при дворе (не здесь, в Орле, а там, в Петербурге, забрали бы его по его таланту из Орла) художником императорским. Веня как бы даже свято верил в это. То есть даже так, что и был им... Что у него такое звание. Случалось же, что и представлялся в звании императорском. Хотя бы постольку, поскольку даже гроб Венин, то есть по его смерти, будет стоять там, где стоял гроб императора, шутка что ли... Простим такую заносчивость Венимину Ивановичу. Когда бы...

Веня не додумывает. Кортеж стопорится. Вставшая на дабы, конечно же, под лейтенантом, лошадь едва не обваливается задом на Вениamina Ивановича. Вениамин Иванович приседает. И – чудом – прошмыгивает между ногами и под животом вздыбленной лошади поперёд, из арьергарда в авангард кортежа, не покалеченный, без увечий, не убитый копытом. Фантазмагория. Какая-то феерия. На ровном месте.

Когда это было? Вчера? Сегодня? Или, может быть, совсем даже ничего такого и не



было... И в помине... Конечно, может быть, пьяненьким был Веня... Может быть, сдуру это почудилось ему... Да уже трудно отличить Венечке, когда он трезвенький, когда – пьяненький. Когда ему – снится... Когда на самом деле... Жизнь – майя, иллюзия, как научал принц Гаутама. Всё путается в голове у живописца. С того и грустно ему...

Выскочил из под лошади Веня. Встрече же – толпа. Толпы народа. И все, значит, аплодируют ему, Вене, цирковому такому фуэте Вене. Прямо овации! Лицедей в ответ, куда же тут денешься, тоже и даже истово так народу раскланивается... Сразу на три стороны. Чтобы всей публике. Шут гороховый! Зарвался Веня. Не допёр, что хлопают не ему, – он же отбивает поклоны... Самозванец! Всё чаще вот так вот конфузится Веня. Сделал вид, что это он так, выткнувшись из под лошади, перед ансамблем расшаркивается, то есть будучи в ошеломлении от него.

Черт сподобил Болховскую... За полтора десятка метров до моста, справа, есть в ней кишка, ответвление с площадью, будто улица проваливается, и на этой площади под гранитным парапетом, светло-кофейным, по утрам розовым, к вечеру чисто кофейным да еще и с отражением от воды, под парапетом устраиваются разные завлекательные представления. Встал, значит, между лошадьми Веня, и с ими, с лошадьми, вперился в сцену.

Да нет, нет, не в первый раз восторгается Веня и даже именно этим, разыгрываемым перед ним действием. И каждый раз весь пребывает всё в одном и том же совершеннейшем неутихающем коленопреклоненном и даже предобморочном восхищении. Да.

Собственно. До дрожи в коленках нравится Вене один момент. Это, когда танцо-

ры, образовав коридор, как бы лиственный и тенистый свод из рук, пробегают под ним парами, с заду наперёд, прогибаясь до полу, далее выскакивают из под него, то есть наружу, и – вскидываются...

Тогда у девок так прыгают вверх груди, у молодых-то, негулянных, молоденьких, что воздух ходит ходуном от ентной упругой и неисповедимой всепобеждающей силы, идущей от дулей их, то есть грудей. Тогда у Вени от движения воздуха подрагивают и звенят колокольчики в карманах, подпрыгивают подвески, отвертки и плоскогубчики, превращаясь в золотые, – запах табака густеет, конопляные семечки в пистонах, оные – трескают, лопаются и – дают не медля даже, тотчас же дают всходы, тут же и распускаясь, – карманы у Вени цветут, из карманов цветы распускаются...

Ой ли, лю-ли, ой, лю-ли...

Русь молодая!

## 6. ГРУСТЬ МОЯ, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МОСТ!

И всё равно, правда, в грусти Венечка... Вот он уже вступает на мост Александровский... Вот он уже на середине моста... Словно чувствуя настроение странника, саксофонист на мосту с особенной и даже какую-то роковой страстью дует в трубу... Душу вынает из Вени...

Есть в музыканте что-то такое, что заставляет немножко холонуть Веню, вызывает в нём что-то увечное и пропащее, отчего, правда, самую душу даже ломит, но отчего и зачем, не понять... То, что отзывается в нём какую-то отцветью вешнюю, каким-то недомоганием тайным и даже сладким, но что похоронено в Венечке, – будто над могилкою стоит и как бы сквозь, сквозь землю и травку, и даже сквозь себя глядит Веня, сквозь собственные косточки... С лёгким таким испугом и даже ознобцем...

Веня будто себя узнает во вьюноше... Как бы тому не пропасть... Человекед же Веня, вот же, как оно есть – есть духовидец и провидец Веня...

И впрямь, будто не от мира сего сей мальчик... Словно с какой-то обетной, в груди запакованной, тайной... Каждый вечер... зачем, для чего он приходит сюда на мост, по которому пронесли мёртвого императора, с этой своею, с тихой, печальной и светлою музычкой... Так что (и что же так) хочется плакать Венечке...

И глаза у мальчика вот такие, как на фресках святого иконописца Рублёва. Строгие. Большие. И вместе пронзающие и плачущие, будто с тобою тебя же оплакивающие. Сливовые. Еврей, что ли, думает Вениамин Иванович. Одной крови – с Христовой. Вениамин Иванович внутренне подбирается.

Крестится на церкви. Не один раз, но – трижды, церковей много.

Сразу, прямо – на церковь Смоленскую, пятиглавую, словно бутон, словно роза, возрастающая перед ним, акварельная, в лёгкой дымке уже предвечерней, в бирюзовом небе – сподобил же Бог мастеров на такую красоту вешнюю – неземную, взошедшую на земли.

Далее на церковь голубую, ту самую, в которой останавливался паланкин с императором, церковь архангела и архистратига Михаила, ближнюю, с облупленным, правда, верхом, широким зелено-золотым куполом над тихой водою, с высоченною колокольней над берегом Орлика в золотых одуванах, справа моста.

Взгляд Вениамина Ивановича цепляется за камень, просвечивающий из воды. Не о него ли разбилась утопленница, девочка, прыгнувшая прошлой весною с моста. С весны прошлой этот мальчик здесь мается...

Тем истовой Вениамин Иванович крестится на церковь белую, белую, как яичко, слева висячего (другого) моста, ниже по те-

чению Орлика. Богоявленская! Если точнее, как ромашка, белая, с жёлто горящими венчиками главок над порожистой в этом месте рекой, незамерзающей даже в морозы, с уточками и голубями и даже тройкою белых, покачивающихся на воде, лебедей. Тот святыс с белокаменных стен радуются – не нарадуются. Одежния на них, льняные, волнуются, – белый лён... Кудри у святых белые. Они, как ягнята. Богоявленская им – как матушка. Вся, словно белый сон. С того же, верно, Борис и Глебка, но уже с витражиков, будто они в веснушках, с надкладезной часовенки взирают, как солнышки, на подлетающих к ним голубей, подлетающих – то ли клюнуть из рук их по зёрнышку, то ли взять в клюв по цветочку, и тоже в крапушках, из веночков святых. А может, голубицы хотят в часовенку между воротцами пролететь – водицы святой испить, которая стекает с креста тёмного, тёмного, да в пресветлую купель... А под Надкладезной белая новая набережная. Веня вздыхает. Чуден город Орёл... Правда... Только камень закладный, там, за подворьем, сделался сед и сер, мохом обросши... С энтого самого места, отсюда и пошёл-попёр город Орёл, пуп земли российской

На цветоносной неделе и в самое Вербное воскресенье, считай, весь апрель, на Благовещение и в Светлый Христов праздник, и еще половину мая, Вениамин Иванович и сам на мосту пропадал. Маялся... Вениамин Иванович ещё истовой крестится... Что-то ему опять чудится... Кажется, чуть ли не на самый праздник перенесения мощей святителя Николая из Мир Ликийских в италийский город Бари, ну да, это уже в мае, привезли ковчежец с иконой и частицами мощей чудотворца в Орёл, сюда, в Богоявленскую церковь. Очередь из паломников, жаждущих приложиться к чудотворным мощам, длинную изогнутой

лентой выстроилась до самой рябиновой аллеи у коммерческого банка над Орликом. И никак не уменьшалась до вечера, до темноты, сколько ни стоял на мосту Вениамин Иванович, озирая сверху прохожих, и пока не зажглись фонари вдоль по над набережной, и когда уже потухли... Сколько же болезных и сырых в Орле, думает Вениамин Иванович, сколько тех, которые, как и он, как и этот мальчик на мосту, маются... И ждут чуда. Ждут, оттого что верят в него. И все, все, которые приложатся, все они излечатся, думает Вениамин Иванович, уже потому, что пришли...

И он даже не раз порывался сойти с моста и присоединиться к страждущим, но не мог... И не то, что нужно было идти назад в дом и переоблачаться, в церковь лицедеями не ходят. Нет. И не потому, что не верил в чудо. Да как же не верить... Когда самая жизнь Вениамина Ивановича есть тихое и – исполнившееся чудо!.. Как не крути... Но только жить ему уже не для чего... Да и не с чего...

Кончился праздник Вениной жизни. Профукал свою жизнь Вениамин Иванович. Если по честному. Пустынький он, там внутри себя, он, Веничка Голубь. Стыдно ему перед Боженькой, как-то неудобно Вениамину Ивановичу, горько, горько внутри у Вениамина Ивановича. Но право же, ну с чем ему стоять перед Господом? Что ему теперь, о чём молить Боженьку? Для чего плакаться перед Спасителем? Да лучше и вовсе, на глаза даже – Господу-то – не показываться. Нет, не роптал Вениамин Иванович. И нет же, не гордость не позволяла ему пойти и склониться пред Тем, Кому даже легчайшее из дуновений души Вениамина Ивановича и то, и оно даже известно... Стыд душу ему проел. Вот, не доглядел он за Анечкой. И не помог, не сумел, не удержал, да и держал ли, подле себя Мусечку... И не уберёт, ой, не уберёжет он Манечку.

Стыд нутро ему ел... Вишь, только оболочка на Вениамине Ивановиче и осталась. Вениамин Иванович есть одна – ветошь... Вот этот болтающийся на нём комбинезон, карманы его, колокольчики да тряпочки... Вишь, как он себя прикрыл... Никто ж и не догадывается... Что нет там, внутри комбинезона, нет там Вениамина Ивановича. Как за халатом не было Анечки.

А за всех, сразу, и не попросишь...

Даже только за каждую погибшую клеточку Вениной головы, – это ж сразу и сколько просьб надо и сколько поклонов отбить...

Господи!

За эту очередь...

Да не одну. За все очереди по всем городам и весям.

За Россию и за Отечество! – опять возносился и рыпался Вениамин Иванович.

«Спаси и помилуй, Господи!» – шептал помимо себя Вениамин Иванович.

А самого пошатывало, сам-то едва ли не падал... Заносило, заносило Вениамина Ивановича... Руку к груди прикладывал. Сердчишко своё слушал. Трепыхается ещё, али же нет... Бьётся ль, на месте ль, в самом то деле... Или уже выскочило... Трогал себя, как бывало на бульваре, за шею. Проводил рукой далее, выше, вроде приглаживал себе волосы, на голове то есть, а сам следил да послёживал, наблюдал за своею головой, – есть то она, али нет... На месте ль голова Вениамина Ивановича? А то куда делась, взяла и удалилась. Или вот, может, выкрали голову у Вениамина Ивановича. Все же и всё, что ни попадя, крадут. Чем голова хуже... А то думал, залезть бы ему внутрь, посмотреть, што там внутри с ею на сам деле такое деется?.. Что там внутри у него завелось? Господи! Да не насекомое какое ли!?. Вздрагивал Вениамин Иванович. Случайно ли, что Мусечка и преврати-

лась то в оное... По роду да по племени... Ладно, что ишо в коровку-то божию... Во что превратится Анечка? И сам Веня... Чем крест сей обернётся для Манечки?..

Спаси и помилуй, Господи!

Эх, не голова у Вениамина Ивановича. Не голова – одуван. Отцвёл, облетел Вениамин Иванович. Весь отошёл – в золотую да непогоду...

С того, верно, так истоиво над Вениамином Ивановичем цвёл город Орёл.

Ах, верно, с того, с того над головой Вениамина Ивановича так одуряющее пахли акации. Над головой Вениамина Ивановича, над Александровским мостом, над серыми башнями старого банка из красного кирпича слева и впереди моста, над голубыми елями, выстроившимися вдоль банка по фасаду, над скользящими мимо трамвайными линиями и над трамваями, над самыми, сыплющими искрами, дугами их – летел сей запах, то есть вместе с электричеством, сыплясь цветами.

Цветы припадали к высоким и круглым банковским окнам в белых кокошниках, заглядывали к клеркам банка и даже залезали к ним через фортки, ложились на подоконники белыми кистями, на голубеющие меж окнами изразцы, залезали в проёмы чердачных теремов для продува воздуха и, верно, спускались в подвалы банка с золотыми его червонцами (по отдушинам спускались)... – на углу, на углу в сквере между спуском с моста и фасонистым боком коммерческого банка высоко-высоко распускались, сияли, цвели сии неземные цветы.

Да, да, именно здесь, на углу между банком и мостом, на этом вот самом месте, тонко-тонко дымила-цвела целая роща акаций.

Купы их круглились над самою черепичною кровлей (были так высоки), верхушки ж стояли, господа, вровень с шатровыми

четырёхскатными башнями, вровень со шпильями и флюгерами, задыхаясь в белом густом дыму, пыля на башни, на кровли, на красные кирпичи с белыми столбами, на кованые кружева подъездных карнизов, висячих лампад под ними и ярусы оградок и оград по периметру, на плоские пики их, на ближние и дальние купола и часовенки Богоявленской церкви и церкви Михаила Архангела. Цветы чадили на целый город, к полудню опрокидываясь в воду белыми купами вниз вместе с башнями (банка) и куполами (церквей) – синими, белыми, розовыми и золотыми, – волнуясь и будто плывя вдоль по реке к стрелке между Окой и Орликом и покачиваясь на воде, – как те, те самые, белые, белые лебеди на воде, – к закладному камню града Орла.

И пахли они на весь старый город, заволакивая его белым дымом, ударяя в голову орловчанам тонким, неуловимым, будто бы тайным и вместе – всеильным и неистребимым запахом – мёда и света, стекающих с цветов белой акации.

Акация, это акация приводила вятичей в чувство своею воскресительной и неизбывною силою, да крест с бегущей по нему в окоём водой в пресветлую чашу Надкладезной часовушки, да купола Богоявленской и Михаила Архангела церквей, да Смоленской, да небо, да синь, да белые облака, которые уже путались в майских цветах Орловской акации, подпираемые белыми кистями снизу...

Да, для всех распускалась акация... Но не для Вениамина Ивановича Голубя. Отпраздновался Вениамин Иванович. Если, опять же, по честному. Вот в таком же дыму и чаду протекала и вся протекла, вся и целая жизнь Вениамина Ивановича. Оглянуться он не успел. Да и некогда было. Без заминки, без задержки, без оглядки жил Вениамин Иванович. Ни остановиться, ни

полюбоваться... Жалко, что художник...  
Теперь ему не наглядеться...

Но поздно, поздно...

Надо идти укладывать спать Анечку, от-  
рывать её от пола, – всё чаще сваливалась,  
где ни попадя, Ангелиночка... Возносить  
её на кровать... Беспмятную... Заносить  
сбоку да чтобы вглубь ложа, подальше от  
края, переносить ей её золотые ноженьки...  
Накрывать её одеяльцем, подтыкая его с  
бочочков, чтобы не раскрылась Анечка...  
Ночи бывают холодные. Фортку же Веня  
держал открытою, чтобы вдосталь навды-  
халась Анечка кислорода. С некоторых пор  
не выходила ж на улицу Анечка. За порог  
уже не показывалась... Ослабела, совсем  
слабенькой стала Евангелина Иоанновна...

Эх-эх! Фьюи-фьюить! Трын-трын, дра-  
та-та! Ой ли, люли, люли, налетели вули,  
налетели вули, да и сели на люли...

Всегда, всегда на мосту рядом с Венеч-  
кой была его Анечка... Ни на минуту ж не  
расставался, никогда, со своею женой наре-  
ченной, облеченною в солнце, со своею, как  
клялся когда-то Венечка, до гроба наилюби-  
мейшей, наикрасивейшей женушкой, и ещё  
дальше, так чтобы за гробом, за солнцем,  
так верил, даже и сейчас, Венечка, как было  
обещано им, так и сбудется, – неразлучно,  
навечно быть им рядышком, вместе, сизому  
голубю да с сизой голубкою...

Всегда, что же, что мысленно, всегда  
и всенепременно на мосту в обнимку с  
ним стояла его Анечка, спиною к решетке,  
облокотясь локоточками о перила, с рас-  
пущенными волосами, развевающимися  
за чугунной решеткой с орлами, как над  
мостом в Париже. Волосы её развевались  
над водою с опрокинутыми в воду ша-  
тровыми куполами до самой воды, заде-  
вая кресты, такие длинные были золотые  
волоса у Анечки... Случалось, Вениамин

Иванович щекотал ей её рыже-золотистые  
волосы губами, дул на пушок за ушком,  
одним и другим, брал в губы её своенрав-  
ные лёгкие локоны, играя ими... Да что  
там... Венечка не раз прям-таки зарывался  
ликом в золотую её копну...

«Дяденька, чё это вы такое делаете?.. –  
пацанва спрашивала, проходя мимо Вениа-  
мина Ивановича по мосту. – Быдто бодаете  
кого?..»

«Баба привиделась, – отвечал Венечка...  
Венечка вообще отличался чрезвычайно  
искренностью, простотою и сугубою даже  
откровенностью. – И, значит, я ей... как  
это... в ... ей... в ейную э... тыкаюсь, в со-  
кровенность её, значит...» – отвечал с  
совершенною прямою, с совершенною не-  
возмутимостью Вениамин Иванович.

Нет, каково? Святая простота ты, Ве-  
нечка.

«А... козёл старый...»

Ну что тут скажешь... Господи Боже  
мой! Понятия нет у пацанвы... Дети они  
малые...

Правда, что же тут делать, если вот во-  
лосы у Анечки везде были так хороши, так  
шелковисты, как у тёлочки, только наро-  
дившейся, – ещё не расправившиеся, спу-  
таные, кудрявые и немного прилипшие, ну  
там, к височкам, в колечках, к темени или  
вот – в паху, все в дыму – от любви, от уси-  
лий, от любовного усердия и натружения,  
– Анечка всегда так старалась, забываясь,  
такая она была самозабвенная, такая беспя-  
мятная, память ей отшибало во время люб-  
ви, напрочь, что, ну что тут поделаешь, и  
даже во всех областях Анечка дымилось, не  
то что там в центре, но и по окрестностям,  
в тенистых закоулках, во тьме её Сада... Не  
дымилась, так затуманивалась... Вся Анеч-  
ка во время любви цветами покрывалась...  
Вся была такая розово-мятная. Как поляна  
с душистою травкой. Как усыпанная ране-  
тками. Быдто райское яблочко. Быдто кон-



фетка. Быдто такой леденец в виде сердечка на палочке, алого...

Часами стоял над водою Венечка, склоняясь за перила чугунной решётки и засмазываясь в уже предзакатную, в отсветах, озаренную облачным светом воду... Будто прощался... С водою, с рекою, с Александровским мостом и с церквами, розовой, голубою и белою, как яичко... Как будто чувствовал что-то такое впереди для себя, что-то грустное, что-то из ряда вон Венечка... Что-то такое, что пора было, даже нужно уже было прощаться...

Вода всходила набранной за день немножко затхлою теплыню, пахла тиной, прелюю коноплю, помётом утиным... Первые выводки утят на выгуле копошились стайками в мелкой травке, – чмокали жёлтыми носами, подбирая ряску от берега... Захлёбываясь, стенали лягушки... Немолчно и тихо стрекотали сверчки. Переключаясь, вскрикивали камышевки. Но всех переключая, возлюбленный Вениамином Ивановичем пел чёрный дрозд, Вениамин Иванович давно присмотрел его в молочных кистях акаций, узанный гость, оранжевоклювый, перья ж как траур, как ночь, и так глубоко и чисто свистел, как та дьяволица с дудочкой и с откинутой от лица вуалью у художественного салона с её божией, с её волшебной и непереносимой музичкой... А тут птица, как человек, значит,

на флейте, так птица горлом поёт... Ах, зарыдать бы Вениамину Ивановичу...

Сумерки густели, превращаясь в сине тени... Зажигались матовые плафоны над головой Вени – над колоннами белыми – под шпилями с бронзовыми гербовыми орлами, которые летели над городом... Прохожих не убавлялось... Однако ж фигуры их как бы истаивали. Превращались в тени. По мосту передвигались как бы даже и не совсем, что люди... Похоже, что это были призраки. Люди, они лишь мнились Вениамину Ивановичу. Или же как-то так, что они вышли из головы Вениамина Ивановича. Собрались и вот дефилировали парочками. Такими фантомами. Которые постарше – чинно, под ручку. Молоденькие ж не то что, как в бытность дефилировали Венечка с Анечкой, не так, чтобы рядышком, но тоже ручками взявшись – только что снизу, всенепременно – сомкнувши ладошка в ладошку в замочек, и надо сказать, что это трогало Веню. Некоторые на мосту целовались, это уж зря, тени их вырастали, зыбко качались, не нравилось Вене сие, сие пустое, думалось Вене. Сам он только щекотал волосы Анечке, только дул на её золотые волосы. Только локонами, такими, как у Анны Керн, как у Натальи Николаевны Гончаровой, играл. Вроде как баловался. А энти прямо прилипают друг к дружке. Ах, подзабыл, подзабыл Венечка, как зацеловывал он на мосту Анечку...

*Май, 2015 – 2017, февраль*

*Редакционный совет сердечно поздравляет  
Анатолия Яковлевича Загороднего  
с юбилейным Днём рождения!*